



Сергей
ЮРСКИЙ

Игра в друзья

Сергей Юрьевич Юрский

Игра в жизнь

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4943978
Юрский, С.Ю. Игра в жизнь : АСТ, Астрель; Москва; 2008
ISBN 978-5-17-054544-5, 978-5-271-22121-7*

Аннотация

Знаменитый актер и режиссер Сергей Юрский известен и как талантливый писатель, автор одиннадцати книг прозы и поэзии. «Игра в жизнь» – не автобиография артиста. Скорее это документальная повесть о людях, живших и творивших во второй половине XX столетия.

«Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях. Это ещё наш быт того времени, наша повседневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю...»

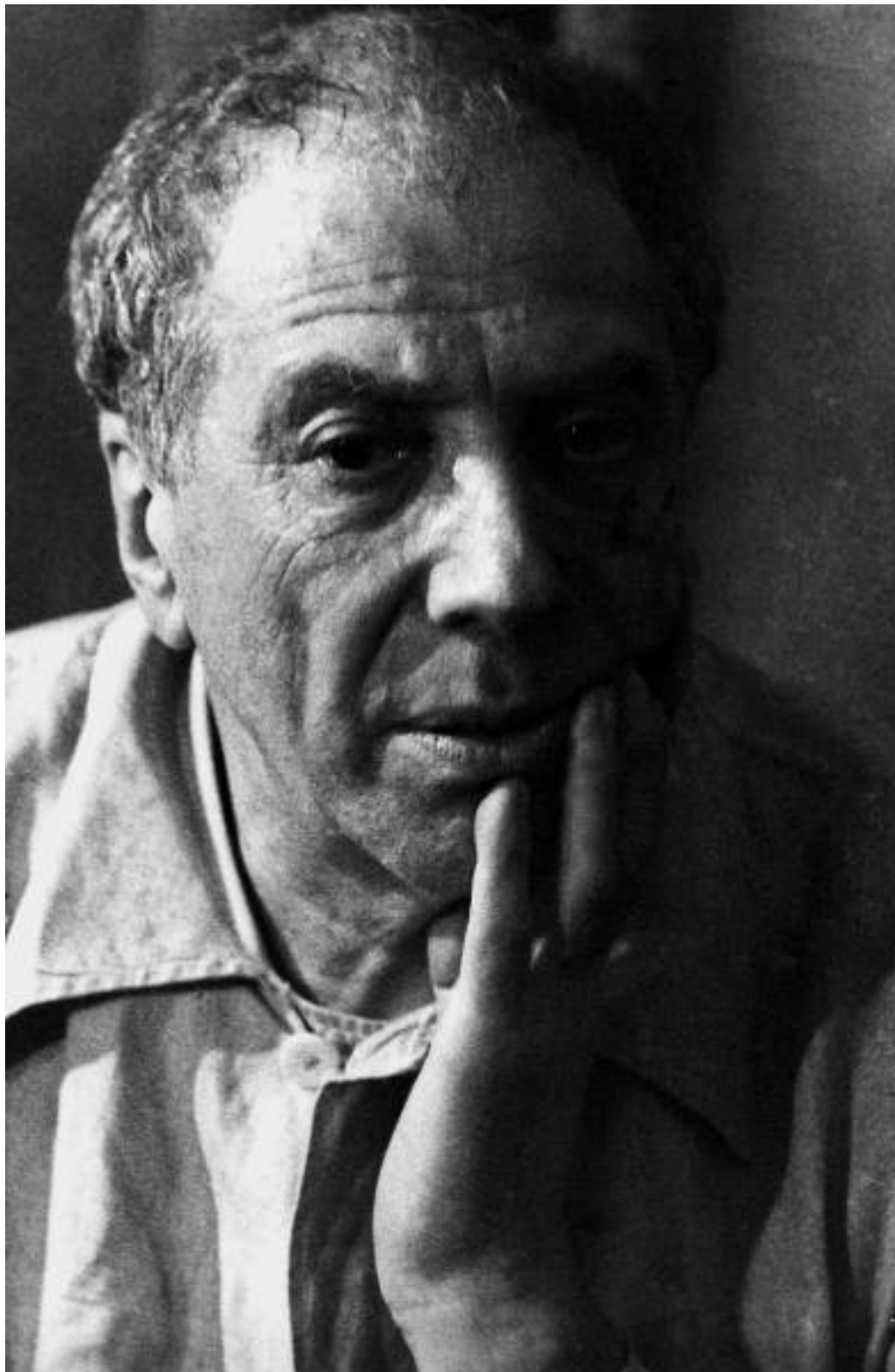
Содержание

Другая жизнь	5
Западный экспресс	8
Москва – Смоленск	9
Смоленск – Минск	13
Минск – Брест	18
Брест. Стоянка	20
Брест – Варшава	24
Варшава – Франкфурт-на-Одере	35
Франкфурт-на-Одере – Берлин	39
Берлин – Франкфурт-на-Майне	44
Франкфурт-на-Майне. Стоянка	48
Дорога на Базель	50
Базель – Берн	56
Берн – Женева	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Сергей Юрьевич Юрский

Игра в жизнь

Другая жизнь



Уже привыкли. Я ставлю сегодняшнюю дату – 2 августа 2008 года – и не удивляюсь, что номер года начинается с двойки. Еще совсем недавно нужно было сделать усилие, столь долгая цепь дней принадлежала Времени, которое начинается с единички. Ну что ж, нумерация – это всего лишь выдумка людей. По-прежнему восходит и заходит солнце, и Земля, поворачиваясь, летит в бесконечном пространстве.

Век наползает на век, и провести границу между ними почти невозможно.

И все-таки миллениум – смена тысячелетий – оказался чертой весьма определенной. Оглянемся. Именно в эти новые годы с ног на голову перевернулись понятия ценностей и возможностей, допустимого и необходимого и даже жизни и смерти. Были и раньше самоубийцы, были камикадзе, были чудовищные акты агрессии, но ничего подобного тому, что совершила Аль-Каида 11 сентября 2001 в городе Нью-Йорке, не было и быть не могло. Дело не только в масштабе подготовки и использовании невероятных благ цивилизации, дело в смене психологии. И это не был нарыв, который взорвался, облив гноем ограниченный участок, это была болезнь, которая не прошла. Теперь почти ежедневно в разных точках мира выходят на свою невыносимую работу смертники, убивающие людей. Привыкаем видеть это на экранах последних новостей телевидения. Бывали паводки, наводнения, ураганы – бывали! Но нынче все чаще мы слышим: бедствия такого масштаба не зафиксированы за все время наблюдений.

Речь не только о катастрофах. На наших глазах свершились события, реализовавшие то, что казалось романтическими мечтаниями: Европа объединилась, исчезли границы, у Европы единые общие деньги. Это часть того, что называется глобализмом – наш коллективный разум все обустроит, заткнем все дыры, в которые лезет беда. Одни скинутся, другим поможем, туда пошлем продовольствие, туда пошлем войска. Все учтено, все подтверждено миллионами страниц документов. Сейчас соберемся, примем решение и сделаем так, что станет лучше. Это говорят высокие государственные люди и ищут укромное местечко на Земле, чтобы спокойно поговорить и всем помочь. Но нет на Земле такого укромного местечка! В любую точку стекаются тысячи и тысячи антиглобалистов – тех самых людей, которым государственные умы хотят помочь. У антиглобалистов откуда-то имеются и время, и средства, и энергия гоняться по миру за государственными умами, жечь машины, бить стекла, кидать камни, получать по голове дубинками. Видимо, у них своя правда. Может быть, государственные умы не очень умные и что-то не то придумали? Но вот их переизбирают, и это уже другие государственные умы, и вот опять делят миллиарды, и опять антиглобалисты заранее съезжаются туда, к черту на кулички, и заранее протестуют против всего, что только собираются решить новые государственные умы. Господа, кабы не была это наша жизнь, то какая была бы смешная комедия!?

Ну, это мир шумит, а нам-то что? У нас своя огромная страна со своей историей, своими понятиями, мы ищем свой путь, еще не совсем нашли, но ищем. Мы вообще сами по себе. У нас такие возможности открылись, такие перспективы, такие новые люди объявились, что уже никого и ничего не узнать. Но вот только почему-то и нас зацепляет этот глобализм в окружающей действительности и антиглобализм в сознании. Душой мы полностью в своем, исконном, в душе нам чем-то даже близки эти, которые жгут машины и камни бросают, потому что больно противны те, которые миллиардами ворочают. Но почему-то сами стремимся к этим миллиардам, да уже и сами ворочаем подобными же. До ужаса любим мы свою природу, но бесконечно мотаемся к чужим, глобальным, ненашенским пейзажам. Так ценим свой могучий язык, свою плавную речь, созданную для добротной беседы, а общаемся почти исключительно с помощью эсэмэсок (надо же такое выдумать!). Автомобили у

нас немецкие (или какие угодно, только не русские), картошка у нас израильская, яблоки (!) испанские, только чечевица (кажется?) своя (для похлебки?).

Пластика у людей изменилась. Теперь уже окончательно частью тела стал мобильный телефон. Значит, основная поза – и на работе, и в ресторане, и в лифте, и на любовном свидании, – рука прижата к уху, как при воспалении, глаза вперены в пустоту, рот непрерывно (и очень громко) говорит.

Виртуальность общения через Интернет... Стоп! Я останавлиюсь, ладно? Просто сделаем вывод, что как-то вдруг прояснилось, что в этом тысячелетии и мир новый, и жизнь другая.

Почтенные и глубокоуважаемые читатели! (Это не формальное обращение! Теперь человек читающий или хотя бы открывающий книгу заслуживает особого внимания и особого отношения.) Потому повторю с полной искренностью:

Почтенные и глубокоуважаемые читатели!

«Игра в жизнь» написана в прошлом веке. В самые последние годы девяностых. Это не автобиография артиста. В какой-то мере это исповедь, в какой-то документальная повесть о людях, живших и творивших во второй половине XX столетия, а судьба свела меня со многими выдающимися художниками. Это рассказ о моих героях, моих ролях, моих любимых, о моей боли, о моих разочарованиях.

Предисловие, которое вы читаете, озаглавлено – «Другая жизнь». Так оно и есть, я убежден в этом. Сейчас мы живём в другом времени, в других измерениях. Рождается новое поколение – те, кому сейчас пять, шесть, семь лет. Это наши дети и внуки. Я вижу, что они другие. Смотрю на них с тревогой и надеждой. Они наши потомки, но у них другое начало, другие корни, они никогда не были СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ. А мы были советскими людьми. Мы жили во время великих строек и великого страха, нужды, тесноты, запретов, ограничений, но при этом взлетов духа, давших великие произведения искусства. На сером фоне мнимого социализма блистали и радость, и юмор, и любовь, и братство, и бескорыстие.

Мы с вами, дорогой читатель, люди XX века, хотя живем уже в XXI. И всё, что происходит с нами теперь, родилось тогда в Советском Союзе и в первые годы перестройки. Те, кто хочет вернуться туда (а таких немало?!), – люди без памяти, или просто без мозгов. Тот, кто хочет забыть, откуда он, отрезать прошлое, – наивен и опасно недалёковиден. Вот представьте – огород. Растут огурцы, растет морковь. Огурцы сверху их срывают и не думают о корнях, о том, что их там, в земле, питает и как. А морковь – она сама там, в земле. Всё, что наверху – просто зелень, а плод – под поверхностью. Так вот мы – морковь, а поверхность – черта миллениума.

«Игра в жизнь» никак не означает отчаянной рулетки, или гусарской лихости, хотя среди моих героев на сцене и на экране были и такие. «Игра в жизнь» – это сплетение реальности и того концентрата чувствования этой реальности, который превращается в спектакль или в фильм. И кроме всего, это еще наш быт того времени, наша повседневность, которая так не похожа на сегодняшнюю и прямо на глазах уходит в историю. Ностальгии у меня вовсе нет. Но ведь мы – нынешние, мы целиком оттуда, из ушедшего XX века. Надо копнуть, надо достать «морковочку». Это даже не наши корни, это мы сами и есть.

Готовя новое издание книги, я спрашивал себя: не поведать ли, что происходит сейчас, что играю, кто с нами играет, что вижу со своей колокольни? Не попробовать ли? Но отказался от этой затеи. Другая жизнь и другие игры. Об этом говорить надо отдельно. А эта книга пусть так и останется повестью о моем XX веке.

Западный экспресс

Это был поезд из моего сна, из детской мечты, из тайных одиноких игр, когда, преодолевая *скуку* жаркого летнего дня и длину обязательного надоевшего пути по лесной тропе, сам был и паровозом, пыхтящим устало, и машинистом, неустойчивым и суровым, и начальником всех станций, и местным мужиком, покорно пережидаящим на солнцепеке у шлагбаума пробег длинного состава, и пассажиром, наивным и восторженным, которому всё в новинку, который глупо и симпатично радуется названию каждой станции, любому перелеску, каждому мостику над неширокой речкой, стаду, прилегшему устало, копнам сена под легкими навесиками, двоению, троению, умножению рельсов на подъезде к большой станции и несравненному перестуку колес, под который все песни хорошо поются и щемят душу, а все мысли легчают и уносятся сквозь щель в окне вместе с кудрявым дымком от паровоза. Это был поезд из моего сна.

Весной 89 года я ехал в одиночку через Европу.

Москва – Смоленск

Влюбленность в железную дорогу охватила меня еще в раннем детстве и не иссякла до конца по сию пору. Поезда нравились мне на слух и на вид, на ощупь и на запах. Все служащие на железной дороге казались мне счастливыми. Я помню зеленую подмосковную станцию Битца. Даже не станцию, просто платформу с деревянной будочкой кассы.

Битца! Теперь это район Москвы. А тогда это была деревня, и до нее нужно было добираться поездом. Не электричкой – электрички появились позже, на моих глазах, а поездом – с паровозом, который пыхтел, гудел и тащил дребезжащие дачные вагоны. Кондуктор выкрикивал: «Люблино, Люблино!.. Царицыно! Кто до Царицына?.. Красный Строитель!.. Следующая – платформа Битца!.. Битца, следующая Бутово!» – это я слышал, стоя уже на платформе вместе с мамой. Мы пересчитывали привезенные вещи – не забыли ли чего, – а вагоны лязгали буферами, со скрежетом делали первые обороты колеса, и поезд уходил в далекое Бутово.

И как я завидовал всем, кто ехал дальше – на Бутово, Щербинку, Подольск и (страшно и сладко произнести!) в далекий Серпухов!.. Мне девять, десять, одиннадцать лет.

1944-й, 45-й, 46-й годы.

Долго, долго моей самой любимой книгой были «Правила движения поездов по жезловой системе» – они относились к железной дороге еще досветофорного времени. Именно на этой книжке воспитался мой консерватизм. Мне было жаль, что жезловая система отмирает и на путях ставят семафоры, а потом и светофоры. Как это примитивно: красный – нельзя ехать, желтый – скорость 16 км/час, зеленый – можно ехать. И всё! И нет собственной инициативы, нет этой ловкости, когда на ходу, свесившись с подножки, помощник машиниста накидывает жезл на руку дежурного по станции, а тот отдает ему другой, как эстафету, как победный символ права на движение, и начинается новый перегон.

Здесь, на железной дороге, работают самые ловкие, самые ответственные люди. Единственные, кто на них похож, – воздушные гимнасты в цирке. Там тоже полет трапеции рассчитан до долей секунды. И рассчитан не машиной, а человеческим опытом и талантом. Если чуть скорее или совсем чуть-чуть медленнее, ловитор промахнется и гимнаст полетит в бездну на глазах ахнувшей толпы.

Ритм, создаваемый многими людьми, идеально чувствующими друг друга, – вот что такое железная дорога. Две полосы железа, обозначающие бесконечность, один божественно прекрасный, совершенно живой механизм – паровоз и множество слаженно, нарядно, балетно трудящихся людей! Пассажиры нужны только как публика, восхищенно, благодарно аплодирующая этому ансамблю солистов.

...И шло лето. С патефоном в соседнем дворе, с фокс-тротами, доносящимися из-за забора. Синее платье в белый горошек, обтягивающее внезапно округлившиеся за последний год формы хозяйской дочки. Чего это она стала такая озабоченная? Куда это ее несет каждый вечер на каблучках, проваливающихся в глинистую землю? Ни на мое: «Привет! Чего это ты нарядная такая? День рождения, что ли?», ни на запоздалые крики из окна ее матери – тети Нюры: «Чтоб как стемнеет, дома быть, а то смотри!» – даже не оборачивается. Едкий дым из самоварных труб, набитых щепочками и сосновыми шишками. Мелкая речка с густым кустарником на высоком песчаном правом берегу, где местная подрастающая шпана всегда караулит меня, чтобы избить за то, что «когда в то воскресенье с отцом твоим на откосе купались, собаку на нас натравливал», а у меня и собаки-то никакой нет, у соседей есть Рекс, так он на цепи сидит.

И опять – лучше нет, как уйти из-под маминого надзора, миновать обходом опасные кусты, где шпана притаилась, вброд через речку за отмель – на тот берег, потом топким

лугом до большой пыльной дороги с колючим гравием и уж по ней – мимо длинных сараев и насосной башни – до долгожданной надписи на дощечке, прибитой к столбику, – БУТОВО.

Тут не просто платформа – тут станция. Пути разветвляются. Стоит маневровый паровоз серии «Щ». Сидит машинист – виден в окошко, – неподвижно сидит и смотрит как полумный в одну точку – перед собой и немного ниже. То ли книжку читает, то ли спит с открытыми глазами. Паровоз слегка почихивает, отдувается, а машинист сидит и не шевелится. А я стою у сарая за пустой заросшей колеей и смотрю снизу вверх, ожидая сам не знаю чего. Какой-то высшей милости. Какого-то снисхождения. Я и не надеюсь, скажем, быть позванным и влезть в вожделенную чумазо-зеленую будку. Я смутно надеюсь лишь на то, чтоб быть замеченным, чтоб образовалась хоть какая-то связь... чтоб прекратилась эта неподвижность и что-нибудь сдвинулось с места... Машинист поднял бы глаза, повернул голову и подумал: вот стоит у сарая мальчик... чего он тут стоит? Лучше бы подошел да помог мне поддержать какой-нибудь рычаг, а я в это время поверну колесо реверса, потому что помощник на фронте, а одному справляться трудно. И он крикнул бы: «Эй, пацан!..» Дальше я не пускаю свое воображение, ибо все, что дальше, просто невыносимо.

Проходят часы, и солнце, покраснев еще больше, совсем по-июльски и уже по-вечернему начинает скатываться к угольным холмам, норовя сесть на трубу дальней котельной. Проходят поезда по основной линии – и товарные, и пассажирские – на Курск, на Харьков, на Ростов... Но я не изменяю своему паровозу. Пусть он сейчас неподвижен, пусть этот маневровый состарившийся красавец «Щ» ничего не сманеврировал за целый день, пусть дома мне будет серьезная баня за исчезновение до самого вечера, но моя верность будет вознаграждена... пусть не сейчас... пусть потом...

– Ты здесь чего ошиваешься? – раздастся слева, и я с трудом поворачиваю голову на затекшей шее. Какой-то охранник в полувоенной форме и с ружьем движется вдоль сарая.

И тут же начинается движение возле паровоза. Идут какие-то двое и, страшно и грязно ругаясь, обращаются к машинисту, а тот – мой будущий друг, моя надежда – отвечает им тем же. Паровоз начинает шипеть громче. Все трое орут и размахивают руками, а охранник с сонным, опухшим лицом закуривает самокрутку и, наглотавшись дыма, выпускает его из гнилозубого рта в мою сторону и вместе с дымом рычит что-то угрожающее. Я отбегаю к углу сарая и сворачиваю к штабелям вперекрест положенных маслянистых шпал и мимо них дальше, к большой дороге, к дому.

Эту бессмысленную картинку вспоминаю я через много лет, когда в газетах пишут о страшном расстрельном и похоронном месте БУТОВО, где тысячи были положены во рвы, куда привозили живых, чтобы сделать их мертвыми, и мертвых, чтобы они исчезли с лица земли. Это началось еще перед войной, но продолжалось тогда, где-то близко от тех черных холмов, и в 44-м, и в 45-м, и после Победы.

А Победа... Победа была славная. Правда! Это правда, не выдумки... я свидетель. Все что-то дарили друг другу, даже незнакомым. Даже в наш отгороженный от мира островок Цирка на Цветном бульваре пришли подарки. Нам подарили два противогаза, пистолет и несколько толстых – ртом не ухватишь – плиток горького американского шоколада. Кто подарил – не знаю. Кому – не помню. Кому-то из цирковых детей. И счастливчик, не в силах употребить это сам и не смея показать родителям – нравы в цирке были суровые, а порой и жестокие, – вынес это на задворки нашей территории, за угол конюшни.

Именно 9 мая 1945 года часов в 11 утра мы отметили Великую Победу, выстрелив по разу из пистолета в консервную банку и ни разу не попав (отдача сильная, и пистолет дергался в руке у каждого). Стреляли на улицах много и радостно, палили в воздух, и потому наши скромные салюты не привлекли внимания. Потом мы разобрали на части противогаз. Когда добрались до сеток фильтров, ахнули от восхищения – потрясающие вещицы! Совер-

шенно ни к чему не приложимые, но потрясающие! Сыграли в пристеночек – слышали про такую игру? Ставкой были останки противогАЗа.

Кто выиграет – тому фильтры, второе место – раздолбанный корпус, третье – ребристый шланг. Второй же (пока целый) противогАЗ и обе страшные резиновые маски со стеклышками для глаз по праву достались в распоряжение первоначальному владельцу.

И наконец, шоколад! Даже Петька Володяев, сын дворника, даже Петька с его громадным ртом и крепкими, как клещи, зубами не смог ни куска откусить от этого шоколада. Били плитку о камень, и тоже без результата, только запачкали. И тогда Ленька Плинер (мальчик-акробат труппы «Плинер – икарыйские игры») сбегал в гардеробную (она же мастерская, где чинили аппаратуру) и принес гибкую злую пилу – ножовку. Отпилили пару квадратов и настругали немного крошек. Шоколад был отличный. Полыхало во рту незнакомым вкусом. Американским. Это после лакомств военных лет – черных комочков вара, как жвачка, или жмыха, внешне отдаленно напоминавшего довоенные вафли.

Вечером, кажется, вся Москва толкалась и целовалась на Красной площади. Но это было уже слишком многолюдно, монотонно и пьяно. Бесконечные залпы салюта под крики толпы. Но к салютам (почти ежедневным) уже привыкли за последний год. То тут, то там подбрасывали в воздух военных – качали и славил. Подбрасывали штатских. Подбрасывали женщин – те визжали. Подбрасывали пилотки, шляпы, бутылки, детей... и выше всего взлетали бесчисленные и беспорядочные ракеты. Ноги болели – находились ноги, и еще оттоптали их в темноте солдатскими сапогами. Глаза закрывались от усталости. Но в толпе бродило шепотом: *Сталин*. Сталин скоро выйдет на Мавзолей. Вставали на цыпочки, тянули шеи – может, выйдет, может, увидим, ах, если бы! *Ура-а! Ура-а-а!* Вот, это он!.. Нет, показалось. Да не дави ты так, держись на ногах, ребят подавишь! Вот, вот – прожектор уперся белым снопом света в трибуну. Сощурились. Ничего не разобрать! *Товарищу Сталину ура-а-а!* Навались! По-о-о-шли побли-и-и-же, а то не увидим. Жми-и-и! Ох, повалился целый ряд. Осторожней вы, женщина поранилась. Помогите-е! *Ура-а! Товарищу Сталину ура-а-а!*

Не повезло. Не довелось увидеть Сталина. Но можно было вскидывать вверх портреты, и вглядываться в родные черты, и размазывать по щекам неудержимые слезы восторга и благодарности за Победу!

Тем же летом мы снова ехали в Битцу. Вагон набит битком. Шумно. Много веселых и пьяных. Отец и мама тоже веселые. Едим какие-то вкусные пирожки из корзинки и угощаем соседей. И нас угощают – яблоками, что ли? Или огурцами. Два пьяненьких солдатики, оба с хриловатыми пронзительными тенорками, постепенно становятся центром внимания. Они и сами чувствуют себя как на сцене. У них уже не разговор, а диалог – для публики. Они подают реплики, и вагон дружно их принимает.

- Были бы валенки, не пили б по маленькой!
- В Азии, в Европе ли всю одежду пропили!
- Ух! За ваше здоровье, Степан Алексеевич!
- И за ваше, Андрей Степанович!
- А чего это у вас, Степан Алексеевич, медалей мало?
- А грудь худая, вешать некуда. А мядали, они у меня усе у ранце спрятаны.

Ой, как хохочет вагон. И солдатики довольны успехом. Выпивают, покрасневшись. Точь-в-точь картинка с обложки книжки «Василий Теркин».

Как все славно, будто всем вагоном в одни гости едем. «Люблино! Люблино дачное! Люблино-депо остановки не будет! Следующая Царицыно!»

– Устали вы, воевавши, Степан Алексеевич, что ж вы едете-то с Москвы? Там теперь самое хорошо, в Москве-то. Всем, кто воевал, награды будут давать.

– Э, Андрей Степанович, а сами-то вы чаво тогда с Москвы драпаете, как фриц? Вот и получали бы наградку – мядалек, да поболе.

– А это я вас провожаю, Степан Алексеевич. А после вернусь в Москву, приду к товарищу Сталину и скажу: вот я весь отвоевался, и ничего мне боле не надо, а дайте мне что положено. А что положено, то вы сами знаете. А товарищ Сталин положит мне руку на темя и скажет: отдыхай, Андрей Степанович, теперь отдыхай, а после разыщут тебя и что положено, не сомневайся, вручат.

У всего вагона слезы на глазах, и у артиста на ресницах блеснуло. Умиление. А второй тенорок похрипывает:

– Нет, Андрей Степанович, товарищ Сталин сперва положит тебе руку на темя, а потом маленько придавит, а потом и вовсе пригнет тебя и скажет: повоевал ты, ну и правильно, а теперь я тебя так согну, чтоб вспомнил ты, кто ты есть, и знал свое место.

Только теперь стало слышно, как стучат колеса, как дребезжит расхлябанное стекло в окне тамбура. Все разговоры смолкли, и тихо стало в вагоне. И все смотрят, а не видят. Внутри себя каждый смотрит и не знает, как ему поступить. Это страх. И в меня он проникает, хотя я не вполне понимаю, что, собственно, произошло. Но что-то произошло. Сидит Степан Алексеевич с открытым ртом и никак закрыть его не может. Не то что-то сказал артист. Провалился спектакль. Вернее, не спектакль, а провалился зрительный зал, вагон то есть, провалился в какую-то дыру молчания и тоски.

«Царицыно! Царицыно Дачное! Следующая Красный Строитель!»

Ух, как пошел народ на выход. Смотри-ка, это, оказывается, все почти до Царицына ехали. Впереди еще Битца, Бутово, Щербинка, Подольск. Нет, смотри-ка, все в Царицыне сошли. Осталось несколько человек всего. И одинокие солдатики.

И мы с папой-мамой в углу. Только отец тоже сидит какой-то странный. Почесывает то голову, то бородку, плотно губы сжал и смотрит в окно... Мы идем по пыльной дороге к деревне, и еще издали слышно – патефонный голос поет:

Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке,
Сразу жизнь становится иной.

Я очнулся от тяжелого короткого сна. В купе было душно, и подушка была совершенно мокрая. Мое путешествие в Европу началось. Поезд подходил к Смоленску.

Смоленск – Минск

В семидесятые, самые застойные годы, я вдруг стал писать. Прозу. И не статьи, не рассказы, а сразу целые повести. В стол. Без всякой надежды опубликовать и – клянусь! – без малейшего желания их кому-нибудь показывать. Несколько лет они пролежали даже не напечатанные на машинке, а просто в тетрадках, исписанных от руки. Я был слишком занят. Родилась дочь Даша. Начались серьезные трения с руководством города (мы жили тогда в Ленинграде), многое говорило за то, что появился ко мне нездоровый интерес КГБ. При этом я много играл в театре в постановках Г.А.Товстоногова. Впервые стал всерьез заниматься режиссурой. Поставил «Фиесту» Хемингуэя, «Избранника судьбы» Б.Шоу, «Мольера» Булгакова, «Фантазии Фарятьева» А.Соколовой.

Очень много выступал с концертами. Сделал несколько больших моноспектаклей.

С середины семидесятых начались запреты. Сперва они касались работы на радио и телевидении, потом перекинулись на кино и, наконец, охватили плотным кольцом всю мою деятельность, а значит, и жизнь. Но об этом позже.

Была такая забавная поговорка: «Писатель, если его не издают, может писать в стол. Артисту хуже – если его не выпускают к зрителю, он может сыграть только в ящик». Так вот, видимо, чтобы не сыграть в ящик, я стал писать в стол. И главным своим произведением (казалось, совершенно непроходимым) я считал повесть «Чернов». Повесть была о страхах – мелких и крупных, об оскудении души в душной атмосфере застойного быта, о подмене и раздвоении личности в условиях тотальной слежки тоталитарного режима.

Герой повести раздваивался буквально – на талантливого, некогда даже выдающегося архитектора Александра Петровича Чернова, тянущего лямку все более тусклой и неустроенной жизни, и благополучного, ничем не обремененного и очень богатого «западного» человека – господина Пьера Ч.

Герой и его фантом почти во всем были противоположны. Связующей, скрепляющей их неразрывное единство была тяга к поездкам. Чернов заполнил свое холостяцкое жилье гигантским макетом, в котором бегали паровозики, вагончики, составчики по разным замысловатым, отлично выполненным рельефам. А Пьер Ч. спасался от пустоты жизни в купе комфортабельного трансъевропейского экспресса, который катился и катился через Европу, и, кажется, пути этому не было конца.

Как и мой герой – Чернов, – я был тогда невыездным, как у него, у меня был за границей друг, с которым я продолжал поддерживать контакт, но был полон страхов – обоснованных и мнимых. Путешествие в экспрессе господина Пьера Ч. было тогда тайной мечтой – Александра Петровича и моей. Он ехал через Вену, Женеву, Милан, Брюссель, Гаагу... – города, которых я никогда не видел, и твердо понимал в то время, что никогда их и не увижу.

Железная дорога прихотливо вилась между странами, границы которых были так легко преодолимы с хорошим паспортом богатого пассажира. Все заграничные подробности путешествия возникали в моей голове из скромных школьных знаний географии и некоторой начитанности. А больше всего из фантазии, в то время почти болезненной. Мне нравились звучные названия: Амстердам, Антверпен, Люксембург, Копенгаген (как я был изумлен, когда через много лет, попав наконец в звучный *København*, я узнал, что *гаген* – это измененное *хавн*, то есть гавань, а все вместе – *Копенгаген* – *торговая гавань*. И только! И никакой мистики).

Трансъевропейский экспресс в моей повести упирался в море, там кончались пути. Еще одно великолепное название – Барселона. Там и обрывалась железная дорога. Там обрывалась и жизнь обоих персонажей.

Кажется, я перепутал Барселону с Лиссабоном – вот где действительно океан и конец Европы. Но я не стал поправляться. Мне было важнее, что в слове БАРСЕЛОНА на один слог больше, чем в ЛИССАБОНЕ. Да и потом, для меня (для всех нас!) и то и другое было так бесконечно далеко и недостижимо, что... не один ли черт – Барселона или Лиссабон?!

1 января 1978 года я перестал быть артистом Большого драматического театра имени Горького, в котором проработал двадцать лет. Я стал никем, потому что до официального разрешения статуса «свободного художника» оставалось еще целых десять лет. В случае милицейской проверки я мог, правда, предъявить документ члена ВТО или члена Союза кинематографистов. Но меня никто не спрашивал о моем статусе. У меня было имя (по театру и по кино) и был зрительский спрос на мои концерты. Я отправился в путь с одним чемоданом, тросточкой и цилиндром.

Тросточка – крашеный бамбук с мельхиором – досталась мне по наследству. Для отца моего, Юрия Сергеевича, с его огромным ростом, она была коротка и даже для меня была маловата. Но отец любил эту палочку с ручкой, и любовь передалась мне. А цилиндр в кожаном футляре был мне подарен Евгенией Владимировной Карповой – руководительницей театральной студии Ленинградского университета.

В студии я был с 52-го по 55-й год, но играть в студийных спектаклях еще долго не переставал, а связь с университетом сохранилась даже после переезда в Москву. Евгения Владимировна – раньше, давно, молодой красавицей – была артисткой Большого драматического театра (БДТ), естественно, в дотовстоноговские времена – во времена Николая Монахова. Коллеги ее любили, а некоторые, видимо, были и конкретно влюблены. Среди последних (я так думаю) был и замечательный комик старого закала А.А.Богдановский. Я видел Богдановского на сцене БДТ году в 49-м, на излете его жизни, в роли Расплюева в «Свадьбе Кречинского». То ли он был действительно так хорош, то ли пьеса, прежде неведомая малообразованному комсомольцу, произвела на меня такое сильное впечатление, но понравился он мне необыкновенно. И этот новенький цилиндрик в неуклюжих руках, который так неловко и комично, с каким-то деревянным стуком надевал он на голову, запомнился мне очень.

Когда через восемь лет я поступил в труппу БДТ, Богдановского уже не было в живых. Но память о нем не-ожиданно пришла от Карповой. Удаляясь от дел, в печали переезжая в Дом ветеранов сцены, она дарила ученикам некоторые предметы, прежде ее окружавшие. И вот говорит: «Этот цилиндр, Сережа, оставил мне в наследство Богдановский. Он играл в нем. А в давнее время пути его пересеклись с Михаилом Чеховым, и был случай, Чехов одалживал у него этот цилиндр. Чехову он был как раз по размеру головы, а Богдановскому был маловат. И вот перед смертью сделал мне Богдановский по старой любви такой немного нелепый презент. А я хочу передать его вам. Я уверена, что он вам хорошо послужит и снова увидит сцену».

Вот передо мной изящная большая коробка добротной толстой кожи. Внутри алый шелк. Широкий ремень для удобства ношения или привязки к багажу... к задку дилижанса (о Боже!). И наконец, сама черная цилиндрическая шляпа. Новенькая, представьте себе! Хотя внутри клеймо – London 1903 и имя мастера. Ну это точно как мундир гоголевского Жевакина, который он не снимая носил тридцать лет, а тот все «почти как новый»! И ничего тут смешного – делать надо уметь! И хранить правильно! И любить! Любить вещь! Саму вещь любить как цельное творение мастера. А не запчасты добывать на случай порчи. Порчи и быть не должно! Этот цилиндр и теперь со мной. Ему без малого век!

Но я отвлекся: поезд меня убаюкал, и поплыли воспоминания об еще более ранних воспоминаниях, закрутилась паутиная воронка снов о снах.

Поезд шел уже по Белоруссии. Орша. Лесной край. Здесь за лесами и лесами не слишком далеко точка схождения Брянщины, Белоруссии и украинской Черниговщины. Там имение одного из самых любимых, самых понятных мне писателей Алексея Константиновича

Толстого. Имение (там теперь музей) называется Красный Рог. А еще километров через пятьдесят железнодорожный тупичок (редкость какая – не правда ли? – тупик железной дороги) – яблочно-церковный старинный городок Стародуб – родина моего отца. Там год назад искал я и не нашел следы нашего рода – рода Жихаревых (отец мой еще в гимназические годы взял себе псевдоним Юрский).

Впрочем, об этой поездке еще будет подробный рассказ впереди.

Всё, всё! Хватит отступлений! Некуда уже отступать. Стучит колесами мой Западный экспресс, и еду я по важным личным делам в далекие края.

Так про что это я? Ах да! Я же про него самого, про поезд то есть и говорю! Про путь, стало быть. Про пути!

В январе 1978 года я начал свое одинокое концертное путешествие.

Минск – Тбилиси – Горький – Ярославль – Свердловск – Челябинск – Магнитогорск – Новосибирск – Иркутск – Киев – Петропавловск-Камчатский – Магадан – Чукотка – Калининград – Пермь. Успех был громадный. Правду говорю. Теперь это может показаться преувеличением или обычным хвастовством... но что поделаешь: любой мемуарист рискует либо сорваться в пропасть мстительных (а потому недостоверных) разоблачений, либо разбить себе морду о скалу неумеренного (а потому недостоверного) самовыпячивания. Всеми силами буду стараться избегать этих опасностей. Хотя... хотя, может, и зря! Определенный круг читающей публики как раз и любит эту хлесткую насаду, эту запоздалую расправу над обидчиками, это скрывание доброжелательной маски с лица мнимых благодетелей и даже, поверьте, неумное прямое хвастовство – всем я, дескать, хорош, всем я люб, а кому не люб, тот сам дурак! Если не разоблачать и не хвастаться, так про что ж тогда, собственно, и писать-то, а?

Попробую определить мою цель. Я хочу *дать картинку*. Максимально живую, насколько способен. Картинка чтобы перед глазами читателя двигалась, чтобы в нее верилось. А документальное это кино или художественный вымысел – это пусть читатель сам решает. Сам я – часть этой движущейся картинки. Иногда как свидетель – тогда я сбоку. А иногда я в самом центре – как в данном случае с моей концертной поездкой и громовым успехом на всем пространстве тогда еще существовавшей, милые дети, огромной такой страны – Совет-ский Союз называлась...

Концерты-то были публичные, в больших залах – до тысячи мест и более, так что спросить можно многих из тех, кто присутствовал, они не дадут соврать: мест свободных нигде не было. Это тогда я набрал авторитет, который через много лет обеспечил мне большие и тоже полные залы на концертах для эмигрантов в Нью-Йорке, Чикаго, Иерусалиме, Кёльне и Париже.

Хорошо ли я работал? Пожалуй, что хорошо, во всяком случае – честно. У меня было тогда восемь двухчасовых концертных программ – совершенно разных, без единого повтора. Репертуар был самый разнообразный: от Пушкина и Гоголя до Шукшина и Жванецкого (тогда еще далеко не общеизвестного), от Достоевского, Мопассана и Чехова до Бунина, Зощенко и Бабеля... и Булгаков, и Есенин, и Берне... и даже Шекспир... более двадцати авторов, более пятидесяти их произведений. На те, бескнижные, времена в читающей стране – хороший репертуар. Будучи по школе театральным актером, а по склонности – эксцентриком, я не читал, а скорее разыгрывал все эти новеллы и поэмы как скетчи, как одноактные пьески. Лирика и быт сменялись комедией и даже грубоватым фарсом. Так что публика не скучала. Но все же... все же был еще один добавочный мотив, еще одна тайная причина этого невероятного успеха.

«Уж и невероятного!» – скажете вы. А я скажу – да, невероятного! Я не случайно это слово употребил. Чтобы в Киеве на концерт с программой «Пушкин. “Евгений Онегин” и “Домик в Коломне”» вызывали милицейское оцепление?! Чтобы в почти двухтысячном зале

Чайковского в Москве не попавшие на концерт ломали двери?! Чтобы в Свердловске, где печатать мои афиши было запрещено, а когда их все-таки напечатали, развешивать по городу было не рекомендовано, и потому просто повесили возле кассы бумажку, на которой от руки написали объявление о выступлениях, я дал шесть концертов за шесть дней с шестью разными программами, и зал был переполнен, и молодежь сидела в проходах на полу и стояла по стенам и располагалась прямо на сцене?! Да, это было невероятно.

Так вот, была еще одна причина этого успеха. Вернее, совпадение причин.

Пишут: социальная психология пришла к выводу, что люди хвалят и славят нечто, только если при этом и тем самым хвалят и славят самих себя. Печально так думать о людях, и есть надежда, что это все-таки не полная правда, но надо признаться, мысль эта некоторую реальность отражает.

Возьмем, к примеру, отношения футболистов и их болельщиков. Болельщик не скажет про свою команду: «Они победили!» Он скажет: «Мы победили! Наша взяла!» Любимый форвард – и кумир, и одновременно полная собственность болельщиков. Его больное колено, его жена, его любовница, его машина, его деньги – всё предмет горячих, словно бы личных эмоций и обсуждений. Его гол – наш гол! Его слава – наша слава! И далее – мы из себя, из нас его выделили, мы его признали и теперь с его помощью докажем, что мы лучше других. Это феномен толпы. Тут великое множество проявлений: от кропотливого, ежеминутного подсчета медалей на Олимпиаде – у них больше или у нас больше... если у нас больше, значит, наша нация лучше... УРА-А-А!.. до извращения религиозного чувства, когда вместо Веры и Постыжения идет хвальба *своего* Бога – наш лучше вашего, а потому мы лучше вас.

Но есть другой, косвенный вариант – гораздо более благородный и индивидуальный. Удовольствие физиологическое (*мне это приятно*) и даже удовольствие эстетическое (*помоему, это красиво*) отступают на второй план. Я выражаю свое одобрение (хваляю, прославляю), потому что это делает меня лучше, чем я был вчера. Это феномен пробуждения личности, пробуждения нравственного чувства. Далеко не всё здесь от логики, от рациона, очень много идет через подсознание. Хваля *это*, выражая свое одобрение *этому*, я *чувствую*, что совершаю хороший поступок, я *чувствую пополнение души*. Я ощущаю, что поступил «по совести», и поэтому испытываю чувство гордости собой. Здесь не агрессивная радость быть с толпой, с большинством, а возвышенная радость присоединиться к числу избранных.

Вот такая цепочка мыслей мелькает на дне сознания: «Я лично не читал ни Булгакова, ни Мандельштама, ни Пастернака, но слышал, что они вроде запрещенные, что ли?! И этого артиста... то ли куда-то не пустили, то ли откуда-то вытолкали... вон, даже афиши нормальной нет, как обычно в нашем ДК... а вот возьму да и пойду! Именно поэтому и пойду. И жена, кстати, хотела сходить. Хочется наконец ей сделать приятное...»

Это очень *советский* феномен. Теперь, произнося прилагательное «советский», мы имеем в виду нечто отрицательное – «совковый». Но в данном случае можно было наблюдать явление с положительным знаком.

Привычное: «Я Пастернака не читал, но категорически его не принимаю и осуждаю!» – это было! И это было *чувство толпы*.

Но я на своем личном опыте много раз ощутил обратное: «Я Пастернака не читал, но, так как в газетах его осуждают, я заранее выражаю ему свое одобрение! Вот артист со сцены, смотри-ка, громко объявил: Борис Пастернак. Три зимних стихотворения – и несколько человек в зале сразу захлопали, они, наверное, знают, что это за стихотворения. Я не знаю, но и я захопаю, потому что это правильно, и я за Пастернака, нечего наваливаться на человека! Вот чувствую, что мы с женой хорошее дело делаем тем, что хлопаем».

Разумеется, я сознаю, что на мои концерты большей частью ходила интеллигенция, то есть люди читающие, мыслящие, люди образованные. Но, оглядываясь назад, вспоминаю, что выступил я, допустим, не только в Магнитогорском металлургическом институте, но и

доменном и мартеновском цехах комбината. Не только в Ижевске, но и, прямо скажем, в глухом городке Сарапул. Не только в Иркутске, но и Ангарске. И в чукотском Билибине одними инженерами с атомной станции полный зрительный зал не набьешь. А в поддавки я нигде не играл, и репертуар оставался таким, как я уже рассказывал. Некоторая кинопопулярность, конечно, была. Но ведь если скучно, так в антракте и уйти можно.

Горжусь тем, что я (не я один, конечно, но среди других и я) рекрутировал людей в интеллигенцию. Никогда не искал маленьких зальчиков «для своих», «для знающих-понимающих», а соединял в больших залах знающих и незнающих и знакомил их друг с другом. Горжусь тем, что на пространствах огромной страны *всегда* находились люди, ждущие от театра не простого, а сложного. Горжусь моими зрителями. Сколько их? Счет простой. В наиболее активный период (с 74-го по 89-й) я давал не менее 150 концертов в год. Значит, минимум 2250 полных залов. Умножим хотя бы на 500 и получим *один миллион сто двадцать пять тысяч зрителей* (не считаем ни театр, ни кино) на литературных концертах одного артиста за 15 лет! А?

К чему это я? А-а, к хвастовству? Ну что ж, есть чем гордиться. Но все же я не к этому.

Плоха была советская власть. Очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли – большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного, подспудного сохранения себя как личности в толпе – этот опыт бесценен. Не выбросить бы его случайно вместе с мусором всего наносного.

В Минске стояли пятнадцать минут. Было уже темно. Наш вагон «Москва–Берн» был в хвосте берлинского поезда. Нам не хватило ни высокой платформы, ни огней. Под вялым дождем, смешанным со снегом, торговали горячей картошкой и неприятно жирными куриными ногами. Бежали какие-то особенно несчастные мокрые собаки.

Когда поезд тронулся, я окончательно уверился, что в двухместном купе международного вагона еду один. Это было приятно. Мне было совсем по-детски эгоистически радостно и одновременно немного стыдно за свою радость. Собаки бежали за вагоном, и какие-то непонятные люди с большими мешками безнадежно стояли под припустившим сильнее дождем.

В купе было тепло, светло. Специально для этой ночи – последней на родной земле – у меня была припасена бутылка водки, которой я ни с кем не собирался делиться. У меня были славные бутерброды и славная книжка на случай бессонницы. Я разложил яства... я отвинтил... я налил... я потерял руки...

Минск – Брест

Вот тогда-то резко отъехала дверь и появился Виталий Геннадьевич, в тяжелом пальто, в кашне и с двумя чемоданами.

Есть люди с таким особенным голосом, который вроде даже приятен – он звучен, он немного, пожалуй, слишком сдобен, но во всяком случае недурен. Речь тоже недурна – достаточно культурна, слегка (абсолютно в меру, поверьте!) присолена матерком, а потому не пресна, в какой-то мере, можно сказать, даже юмористична. Одним словом, хороший голос и хорошая речь. Недостаток этой речи, пожалуй, только в ее избытке.

Оказаться с таким человеком наедине в замкнутом пространстве более чем на десять минут – пытка. А попасть в одно купе на двухсуточное путешествие...

– Будем знакомиться – Виталий Геннадьевич, ведущий профессор, – сказал Виталий Геннадьевич. – Ваше седьмое? А мое восьмое. Чего-то мне ваше лицо знакомо. Я еще в Москве подумал, что вы на кого-то похожи... О, антресоль-то свободная, я туда оба чемодана пихну. А ваши где? Под полкой? Это зря! Они сейчас, тяни их, на этой границе совсем оборзели, что ты! Никаких там под полкой – всё на виду должно быть. Я даже каждый раз все замки заранее отпираю. Всё для вас, всё наружу! Во, классный анекдот! Грузин говорит: «А все равно грузины лучше, чем армяне!» Его спрашивают: «Ну чем? Чем?» – «Чем армяне!» Ха-ха-ха! Класс, да? А чего это у вас бутерброды разложены, а выпить нечего? А в стакане это что, вода? Ну-ка, ну-ка... да это ж пахнет... это ж водка! А-а... ха-ха-ха... колоссально, а я думал – вода. Стой, тянитская сила, узнал! Вы же актер, да? «Двенадцать стульев», да? Тянитская сила, а я все смотрю и думаю: знакомая морда. Колоссально! Жене расскажу – не поверит. Она мне вообще никогда не верит. Чего бы я ей ни рассказал – не верит, и точка! И правильно делает, ха-ха-ха! Ну чего там бутерброды... мы сейчас в ресторан пойдем, пока не закрылся и пока на наши деньги. Это только до Варшавы, а потом всё – свистец! – только на валюту! Вы сколько в декларацию пишете? Ну правильно! Я тоже так: сколько положено, столько и пишу. Ни больше ни меньше. Больше – заметут, а меньше – подозрительно, правда? Ладно, всё, пошли в вагон-ресторан. Я приглашаю. У меня этих наших деревянных навалом. Во, видали? Полный бумажник... Кстати, позвольте на всякий случай чего вручить вам мою визитку – вот, Виталий Геннадьевич... ведущий профессор... и старший консультант... генерального... конструктора... по социологии. А то я, как вошел, сразу смотрю – ну, знакомое лицо!

Беда в том, что и мне его лицо знакомо. При посадке на Белорусском вокзале был скандалчик. Возле соседнего – «брюссельского» – вагона стоял носильщик с телегой, горой нагруженной разнокалиберными вещами и пакетами. Носильщик требовал еще добавочную пятерку, потому что «сами пересчитайте, сколько их тут». А владелец вещей, оказавшийся впоследствии ведущим профессором, был в то время – удивительное дело – совершенно пьян. Он никак не мог в толк взять, чего от него хотят, и совал носильщику рубль. А тот от рубля отказывался и требовал пять. Ведущий профессор качался на неверных ногах и говорил: «Ну чего ты, ну чего ты хочешь? Ну нет у меня больше, тянитская сила, ну смотри...» – и показывал бумажник, который был – я сам это видел – совершенно пуст. И это был тот самый бумажник, который он теперь демонстрировал мне, и теперь он был – это же прямо фокус какой-то – туго набит и нашими купюрами, и валютой.

Еще тогда вся эта сценка мне приметилась, и как-то неприятно приметилась: груда вещей, носильщик, какой-то заморыш прыщавый и этот здоровый краснощекий профессор, который пританцовывает на пьяных ногах и все трясет бумажником и карманы выворачивает – ну пусто, ну ни копейки, ну видишь... а между тем покрикивает: давай, Боря, давай, Сережа, давай, давай заноси... там пока на кровати кладите... Молчаливые, невнятные Боря-

Сережа сноровисто таскают тюки и пакеты в вагон. И над всем этим снег хлопьями, и сразу тает, и, как коснется перрона, сразу в грязь обращается.

Я еще подумал – какой скверный наигрыш, какая неправда, как это человек в Брюссель едет с совсем уж пустым бумажником. И что ж, Боря-Сережа не могут, в конце концов, четыре рубля наскрести? Потом я решил: пьян в стельку краснорожий пассажир, до самого Брюсселя не проспится. Ан, смотри-ка... в тот же день тут как тут, вроде и вовсе не пьяный, и бумажник как бочонок.

– Сейчас главное – Брест пройти, советско-польскую и потом германо-германскую, там они всё нюхают, а остальное ерунда. У меня сын в Брюсселе, старший... все время просит – то привези, это привези... там у них дорого все охерительно... ну, я пока по ребятам раскидал... после германо-германской там все нормально будет... за Берлином они уже не рыпаются. Во Франкфурте-на-Майне я все равно к ним в вагон перейду. Да и в Брюсселе-то три дня всего, так... погулять... и в Лондон... на пароме – и в Англии. На Би-би-си. А вот интересно, вы Би-би-си теперь слушаете? Раньше – это понятное дело. А вот теперь, когда все можно? Вон что творится! Мы ж совсем открылись, а они к нам проникают. Сознание уже практически управляется оттуда. «Свобода» открыто вещает, Би-би-си – и говорить нечего. Изнутри всякая гниль полезла... Это вот вам – актерам, писателям – вам надо не терять влияния! Вы ж смотрите, что с молодежью делается! Но конечно, в этом застойном дзоте отсиживаться нельзя, открываться надо. Надо выходить на контакт. Потому что экономика в штопоре, но по идеологии мы все равно сильнее. Я осенью читал в лондонском университете лекцию об экстремизме в молодежных организациях. Они рты открыли! Потому что они думают, что мы совсем лапти. А я им два часа на хорошем английском и довольно откровенно – что у нас в Свердловске творится, что в Кургане... Там же фашисты головы поднимают. Нормальная проблема – запросто на диссертацию тянет... Ну они, в Лондоне, меня слушают и прокисают... Видят, что мы не как раньше... что мы о своем больном говорить можем... «Мистер Прахов, мистер Прахов, мы хотели бы услышать развитие темы!» А я говорю – пожалуйста, могу курс прочесть, но параллельно надо охватить средства массовой информации. Пожалуйста, я вам курс – вы мне время на Русской службе Би-би-си. Они начали, что, дескать, это разное, это другое ведомство... Ну ладно.

После Рождества и всех их каникул мы пригласили одного из их боссов к нам на две недели... Сделали поездку Москва – Ленинград – Киев – Тбилиси... попоили его, погуляли... И всё! Сейчас еду туда – он меня встречать будет. Личный контакт.

Наши бывшие пытаются там рыпнуться: «Нам не нужны из Союза, у нас много своих опытных работников...» Сто-оп! У вас диссиденты, а не работники! Это другая квалификация и другая точка зрения! А как насчет объективности, а? Или вас устраивает одностороннее освещение фактов? Хоп!

Всё! Вот сейчас еду уже конкретно разговаривать... Идеологию мы не должны сдавать ни в коем случае...

Экономику просрали, значит, держи порох сухим в идеологии. Кстати, об экономике: если хотите сигареты покупать, только во Франкфурте-на-Одере – ровно через сутки. Там они в два раза дешевле в Тах фрее. Буквально в два раза. Но только на марки. Доллары они не берут.

Ну всё, всё, пошли в ресторан, отметим знакомство. О-о, буфет идет!.. Ах ты моя голубка! Что у тебя осталось-то к последнему вагону?! Не-е, это не то, это не пиво... пива мы в Германии попьем... О, смотри... виски! Сколько тут? 250 грамм? Давай! И орешков! Сейчас выпьем за начало *пути*. Видишь, голубка, с кем я еду? Узнаёшь лицо? Лицо узнаёшь? То-то!

...На рассвете была граница.

Брест. Стоянка

Знаете ли вы, что такое граница? Если вы, подобно мне, советский человек, то вы знаете, что такое граница. Если же вы человек иностранный или наш, но совсем молодой, то вы понятия не имеете, что такое граница.

Граница – предел, черта, за которую *нельзя*. Граница – грань возможного. На границе тучи ходят хмуро. Пограничник в тяжелой шинели, застегнутом на подбородке и надвинутом на лоб островерхом шлеме – герой нашего детства. Он не спит никогда. Он стережет. Чтобы ни туда ни сюда. Граница на замке. Это колыбельная наших младенческих лет. Спи спокойно, мой маленький, никто не придет, граница на замке.

ГРАНИЦА. Это был магический круг длиной во много тысяч километров. Разве мало тебе места внутри этого круга? Разве не бесконечно разнообразна здесь природа? Разве не свободен ты ходить, ездить, летать и плавать от одной границы до другой? Ты свободен передвигаться повсюду! *Кроме*. Кроме мест заключения и мест, входящих в перечень секретных. Их много, их очень много. Островками, островами и целыми архипелагами они разбросаны повсюду... Но разве без них мало простора? Правда, имеются такие административные осложнения, как ПРОписка, ПРИписка (к месту службы, к территории, к секретному городу), но это проблемы индивидуальные. А вообще-то ВСЁ от края и до края, от границы и до границы – это твоя страна! Правда, не от самой границы... и не до самой...

Граница – это такая тонкая, такая значительная при этом черта, что уже на дальних подступах к ней начинается ПРИграничье. Тут живут особые люди – со специальными документами, со специальными правами и обязанностями. Чтобы обычный «внутренний» человек мог попасть в приграничье, нужно разрешение, некий вкладыш в паспорт. Если тебе выписали и вклеили этот вкладыш, значит, тебе доверяют, значит, ты свободен подойти почти к самой пограничной полосе. И ведь не все же десятки тысяч километров лес, бывают и просветы, и прогалы. Если день не туманный, можно видеть – в это трудно поверить, но, ей-богу, можно видеть – жизнь *по ту сторону границы*.

Вот стоит корова. Она щиплет траву и обмахивает себя хвостом. Но это другая, это не наша корова – по цвету, по размеру, даже, кажется, по форме – это немножко другая корова.

Вот едет грузовичок. Он весь как-то иначе сделан, по другим каким-то физическим и эстетическим законам. Едет себе... и почему-то оставляет меньше пыли, чем наши грузовики. Это, видимо, особое устройство колес... или дорог... Или это такое особое устройство моего зрения, что все, что *там*, кажется чуть ярче, чуть миниатюрнее, чуть чище... как в цветном предутреннем сне.

Граница – табу № 1. Об этом написаны сотни рассказов и поэм. В границе заключена тайна жизни, последняя ее черта. И потому, наверное, так тянет заглянуть за эту черту – а что же там??? Потому так манит граница и с той, и с другой стороны. Оттуда лезут и лезут шпионы – на планерах, на парашютах, на ходулях, на копытах, ползком, задом наперед. Под видом мальчишек на велосипедах проникают матерые престарелые лилипуты. Под видом заблудившихся охотников, странников, священников идут и идут разведчики и диверсанты.

И вот уже не поручусь я, что эта корова на том берегу вялой речушки не состоит из двух специально подготовленных наблюдателей. И не дам я руку на отсечение, что на крыше того слабо пылящего грузовичка не установлен особый перископ, через который ясно виден весь наш берег и я, в частности, виден во всех моих подробностях. Манит, манит их всех наша сторона!

Да, но нас-то почему так манит за эту границу, вот вопрос! Прямо скажу – дурацкий вопрос! Почему домашнего кота манит выскользнуть за дверь родной квартиры? Да потому, что интересно, а что там? А мы советские люди. Для нас пересечь границу – это как умереть

и воскреснуть! Это Пасха Господня для нас, безбожников. И потому – по неопытности, по незнанию, по невежеству – начинает казаться (ошибочно, ай, как ошибочно!), что *там* рай – светлый и бесконечный.

Сейчас-то что, сейчас я уже по привычке. А когда в первый раз... в 63-м году, по весне... Ехали мы с двумя товстоноговскими спектаклями – «Варвары» Горького и «Океан» А. Штейна – всей труппой БДТ на целых два месяца за (глаза замуриваю и головой качаю от неправдоподобности – совсем *за*) границу! В Болгарию!!! И в Румынию!!!

На пограничной станции Унгены стал поезд. И готовили нас к пересечению границы действительно как к переселению на Тот свет. Отдельно от нас стояли бесконечной чередой *другие колеса*. Здесь начиналась не наша, *иная колея*. Мощные домкраты – по четыре на каждый вагон – приподняли нас всех, нашу опору – наши колеса – укатили из-под нас, и состав (я не вру, я ведь не вру!) повис в воздухе!.. Потом прикатили другие колеса, мы опустились на них и с этой минуты стали наполовину (нижнюю) уже иностранными. О Боже, какое странное ощущение – стоять на другой, не нашей колее!

Пошли по вагонам суровые проверки, пошли хмурые, как тучи, люди с железной выдержкой и ледяной вежливостью. У нас была хорошая труппа, отличные актеры. Но это ж там, в Ленинграде, мы кумиры и нас знают, а здесь далеко... кто мы? Никто мы!

Лебедев? Ну и что ж, что Лебедев, Лебедевими пруд пруди. Евгений Лебедев? Не знаем, мы по театрам не ходим. Что Доронина? Кто Шарко? Что нам Басилашвили, Лавров, Макарова, Юрский... Главный кто? Товстоногов? А он кто? Режиссер? Ну это вообще никакого интереса. Счастливого путешествия, товарищи артисты! Берегите честь нашей Родины! За мной, в следующий вагон.

Ночь. Никто не спит. Мы все в великом возбуждении. Какое необыкновенное ощущение – впервые *пересечь границу своей Родины!* Эта Родина так хорошо вырастила и обучила нас, что вот – мы нужны и тут, и там – за границей. Наша Родина теперь такая открытая. Сталин соорудил стену между миром и нами, а теперь... Теперь мы полны свободолюбивых идей, мы возем их с собой, мы открыто говорим о них... Посмотрите хоть пьесу «Океан» Александра Штейна в нашем исполнении в постановке Г.Товстоногова и М.Рехельса. Вы знаете, какие слова говорит там артист Юрский в роли Кости Часовникова? Он прямо говорит Лаврову в роли Платонова: «Нет, если партия – это такие люди, как ты, тогда можно вступить в партию, тогда другое дело». Этот спектакль мы и будем играть по всей Болгарии и по всей Румынии. Они там ахнут. Потому что у нас в стране пошли большие перемены, а у них всё еще говорят, что в партию надо стремиться без всяких условий, просто стремиться и по возможности быть в ней. В Ленинграде, Москве, Киеве... 150 раз уже прошел «Океан» Штейна с полными аншлагами, овациями, где артист Юрский в роли Кости Часовникова... впрочем, это я уже говорил.

А сейчас... в данный момент... как мало важны все наши театральные дела, наши успехи и неудачи... вся наша жизнь с ее мелочной суетой... по сравнению с серьезностью *пересечения границы*. Всякое пересечение границы есть преступление. В том числе и законное пересечение. Раз переезжаешь – значит, переступаешь, раз переступаешь – значит, преступление!

Так не говорится прямо, но это читаешь во взглядах пограничников и во всей могучей постановке этой государственной мистерии: «Ночь. Натура. Унгены».

Последние метры по родной земле. В вагоне немыслимое напряжение тишины. Слышно, как маленькая отставшая железка вякает под потолком. Едем медленно. Ничего не видно за окнами. Только колючая проволока поблескивает. Не выдерживает замсекретаря партийной организации (хороший актер, между прочим) и густым своим голосом произносит громко: «Эх, русских бы сейчас щец». – «Заткнись!» – выдыхает весь вагон. Щецы хороши, русские еще лучше, но сейчас не щец хочется... сейчас хочется... черт его знает,

чего нам всем хочется. Молчать! Смотреть! И слушать! Мы *переезжаем границу Советского Союза!*

Ярко ударил свет прожекторов. Где, где она? Где мы? Внимание! Лбы влипли в оконные стекла. Ну! Где?..

Будка с часовым... Мост.

Вот! Пошла вспаханная полоса – она, она... Ничейная!

Полоса моя нейтральная! То есть не моя, в том-то и сила, что она уже не моя, она ничья. Ровненькая – каждый след будет виден. Человек пройдет – видно! Кошка пробежит – видно! Муха пролетит – ...ладно, хватит ёрничать!... кончается полоса.

Медленно идет поезд на чужих колесах.

Ослепительный прожектор прямо в глаза. Не видать!

Зажмурились глаза.

А когда открылись...

Все другое!

Стоят две цистерны – другой формы, не наши. Стоит чумазый смазчик с ящиком и лейкой – всё не наше – и ящик, и лейка, и смазчик... и фуражка на нем форменная – не наша.

Боже, какое перенапряжение, какая усталость и какое возбуждение. Мы перешли... мы переехали... мы пересекли!

Эта граница и теперь в моей душе. Я вспоминаю это не для запоздалого осуждения и не для покаяния. Мне нужно это помнить, потому что следы этого остались во мне. В нас. Это граница не десятилетий, а веков русской истории. Беспредельность внутреннего пространства и закрытость внешнего.

И я не насмешничаю, не издеваюсь. Я стараюсь не быть угрюмым в моих рассказах о прошлом.

Поверьте, молодой читатель, мы вовсе не были слишком уж глупы или трусливы. И совсем не были заводными куклами, лишенными внутреннего содержания. Только вам, нынешним, не понять наших несчастий и наших радостей. Вы не знаете, что такое ухватить почти без очереди («Ну полчаса всего постоял!») две бутылки водки и палку колбасы. Вы не знаете радости, когда – нет, не купил еще, до этого далеко! – а *записался* в очередь на холодильник, и мой номер в первой сотне! И вы никогда не узнаете восторга, который переживала душа при пересечении границы: мне доверили, я достиг, я дожил до этого... я взлетел!

Дай вам Бог этого не узнать! Но не смейтесь над нами, дети. В вас наши гены. Валяйте, гуляйте... но помните это.

Теперь, когда все перевернулось, когда сотни людей из Омска прямым рейсом летают на Кипр и в Барселону – отдохнуть пару неделек, когда мой приятель говорит: нет смысла ехать в Италию на машине, лечу самолетом, а там найму машину и своим ходом дальше, когда состоятельные (очень, очень состоятельные) люди из Сургута отправляют сорок детей в Париж на пять дней – только побаловаться в Диснейленде, а музеи и там остальное... ну посмотрят через месяцок, еще одну экскурсию организуем, – теперь, когда все так перевернулось, я спрашиваю себя: куда исчезла эта граница? Испарилась?

Или приснилась она нам тогда? Или все дело в деньгах? Раньше мы были бедными, а теперь некоторые стали богатыми. Такими богатыми, что для них вообще уже нет никаких границ. Часто слышалось: какие эти западные люди свободные – в поведении, в жестах, в любых мелочах... сразу отличишь от наших. Теперь наши, бывает, куда более иностранные, чем сами иностранцы... И говорят даже на разных языках, и такие свободные в поведении, что даже расхлябанные. Но в том-то и дело, что всё это *как* они и даже *больше*, чем они. Всё это немножко *слишком*. Опять же говорят: нормально, процесс пошел! Со временем все устаканится.

Может быть. Хотя не уверен. Не думаю. Я ведь не со стороны смотрю. Я тоже отсюда. Мой XX век я большей частью прожил *в строгих границах*. Они во мне. Они прошли через меня насквозь. И таких, как я, много, много. Нам нельзя превратиться в заграничных людей. Это притворством будет. Потому что мы, забыв про границу, думаем, что преграды исчезли вообще. А оказывается, У НИХ, у заграничных-то, у них свои преграды... и стенки, и потолки, и заборы, хоть и плющом увитые, а кре-епкие!

От родителей можно отказаться (это на нашей памяти бывало), а вот перестать быть их потомком – нет. Нетушки!

Брест – Варшава

Виталий Геннадьевич наконец напился всерьез и проспал с храпом наше вторжение в Польшу. Невнимательные либеральные пограничники вколотили нам в паспорта по штампу, невнимательные таможенники подмахнули декларации с одинаковыми разрешенными суммами, и рассвет высветил белую равнину с черными ранками изб, рощиц, станционных строений. Был тот же февраль, но только уже заграничный.

Очень люблю весну. Рад бы вслед за Александром Сергеевичем восхищаться прелестями осени и восклицать: «...Я не люблю весны; скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен...» Но что поделаешь – люблю весну. Ленинградскую раннюю люблю, когда лед на Неве меняет цвет и сквозь зимний автомобильный шум города просачиваются новые звуки – таянья, невнятного журчания, вздохов размораживающейся большой воды. И вдруг понимаешь, что ты не на материке и не на обширной тверди, а на островах, будь ты хоть на необъятной Неве, или на корректной Фонтанке, или хоть на узеньком канале Грибоедова.

И московскую весну люблю. Особенно позднюю, с сиренью в неизменных дворах возле неизменных сараев. Это ж сколько раз всё сносили, давая простор небоскрегам! И небоскребы выросли... и состарились... и еще новые гиганты скребут небо, а рядом, внизу, тут же за углом – вот чудо-то! – всё те же сарайчики непонятного назначения во дворах, где белье сушится на веревках и небритые мужчины в застиранных майках стучат костяшками домино или сидят бесцельно на скамейках, щурясь на солнце. И сирень, сирень... И каждый вечер... день все длиннее.

Я видел две особенные весны – Пражскую весну 68-го года и время цветения сакуры в Токио в 98-м. Они совсем непохожи. Они даже несопоставимы. Поэтому очень важно будет рассказать про обе. Одна стремилась все изменить и перемены сделать необратимыми. У японской весны был другой принцип – ничего не менять и даже ни к чему не прикасаться. Ждать, видеть, смотреть... и знать, что цветению отпущено только две недели. А дальше – весне конец. Одна весна рухнула, другая – вечна.

В Праге тогда дышало вдохновение. Все, что ни делалось, было талантливо, и все восхищались друг другом.

Наши спектакли шли в театре «На Виноградах», а поселили нас на другом берегу Влтавы, возле парка Фучика. Между театром и отелем курсировал специальный автобус, но манила улица. Хотелось идти пешком или ехать в трамвае – видеть эти лица, слушать полупонятные возбужденные разговоры. БДТ к тому времени был уже знаменит, и нас окружали репортеры, театроведы. Это были странные интервью. Интервьюеры мало спрашивали, а больше говорили сами, захлебываясь рассказывали о своих переменах. Свобода! Свобода от слежки, от цензуры, от госбезопасности, от московских «советников» во всех областях жизни. Свобода от страха. «Может, и ошибаемся, но не боимся. Говорим громко», – сказал мне Богумил Барта, мой старый друг – соученик по Ленинградскому университету, а теперь профессор юридического факультета в Праге. Ироничный Богумил, скептик и насмешник, не мог скрыть восторга, переполнявшего его.

А какой был невероятный театральный бум в городе и в стране! Подряд смотрели спектакли в театре «На Збраноу»: «Три сестры», «Иванов», «Царь Эдип», «Кошка на рельсах».

Ослепительная режиссура Отомара Крейчи и мощный актерский ансамбль и два несомненных лидера труппы – Томашева и Тшиска. Поражающие декорации Людвиг Свободы.

А театр «На Забрадли»! А «Ревизор» в театре «Чиногерни Клуб» с Павлом Ландовским – Городничим и Олегом Табаковым – Хлестаковым, игравшим на русском языке. Я видел в своей жизни десятка два «Ревизоров» и сам сыграл несколько ролей в разных постановках, но клянусь – никогда так не хохотал вместе со всем залом, как на спектакле молодого тогда режиссера Яна Качера. А увлеченный Леош Сухаржипа – актер, режиссер, журналист! А спектакль по Бабелю в театре «На Виноградах»!

Заметьте, очень много играли русских и советских пьес. Но не по приказу, не из-под палки. Слетели с глаз шоры, и появились свежие, яркие интерпретации. Публика ломилась повсюду. Очереди в кассы кино. Знаменитый теперь и полузапрещенный тогда фильм «Поезда особого назначения», гомерически смешная бытовая комедия с тем же Ландовским, едкие первые комедии Формана. Концерты классической музыки в костелах – толпа, яблоку негде упасть.

Франтишек Павличек, директор театра «На Виноградах» и активист дубчековских реформ, говорит: «Смотрите, смотрите, это и есть социализм. Была подмена, была фальшь, а это настоящее. Теперь все будет нормально!» Хорошо звучит по-чешски подчеркнутое *о* и *л* без мягкого знака – «нормально»!

Мы едем по стране. Брно, Братислава. Там чуть потише, но тоже бурлит. И снова поездом возвращаемся в Прагу. Уже март, совсем тепло. Настоящая весна. Начало цветения. Мы потрясены. Мы ошеломлены. Мы влюблены в эту страну и в наших коллег из этой страны. Правда, появился некоторый привкус тревоги. В Москве недовольны. Москва сердится. Могучий «старший брат» хмурит брови. На безразмерной Вацлавской площади день и ночь идут митинги.

Пошли слухи, что западные немцы хотят оккупировать страну и чехи якобы готовы открыть границу. Советские газеты обвиняют Чехословакию в антисоветских настроениях.

«Где, где? – кричит Павличек. – Вы разве ощутили антисоветские настроения? – Он хватает Товстоногова и меня за рукава. – У вас сегодня свободный день. Берем машину и едем на границу. Вы увидите сами. Там все спокойно. Какая оккупация?»

Все это громко. И все это страшно. Потому что и их страна, и наша – это страны стукачей. Они пытаются от этого избавиться, но пока это только попытка, а у нас стукачество нарастает.

«Расскажите там у вас, что вы здесь видели. Расскажите правду!» – кричит нам на перроне Павличек. Поезд на Дрезден – мы едем дальше, в ГДР. Я не могу забыть последних минут прощания с Франтишеком Павличеком. Это не фраза, я и правда все тридцать с лишним лет, которые прошли с тех пор, это помню, и жуть охватывает сердце. Закатное солнце било в глаза. Толпа уезжающих и провожающих. В эти дни газетные вести стали совсем тревожными. Павличек почти не спал несколько суток. Глаза красные, воспаленные. Как официальное лицо, он произнес краткую прощальную речь. Стали входить в вагоны.

Мы крепко подружались с ним за эти дни и потому обнялись.

«Ну, до встречи... Увидимся... вы звоните, вы пишете... я позвоню, я напишу...» – обычные прощальные слова. Я увидел влагу в его глазах. Может быть, переутомление, а может быть, слезы – так грустно ему с нами прощаться? Но не в нас было дело. «Пора, пора. Увидимся, увидимся», – сказал он. Поезд тронулся. Мы с Георгием Александровичем стояли рядом у открытого окна в коридоре. Павличек, не отставая, шел рядом с вагоном. И вдруг он широко улыбнулся. В сочетании с влажными глазами это было довольно жутко. Это был оскал усталости и боли. Поезд ускорил ход. Павличек побежал. Он поднял руку, и, прощально махая ею, с широко открытым, квадратным, как у рыдающего младенца, ртом и

неожиданно жестким взглядом мокрых глаз, он прокричал несколько раз: «Никогда больше не увидимся! Никогда!»

Он оказался прав. Он предвидел.

В конце июля того же 68-го года мы с моим другом Симоном Маркишем были в Новом Свете. Тогда он был москвичом, а я тогда был ленинградцем. Мы съехались в Симферополе и отправились «дикарями» в поселок Новый Свет – восточный Крым, возле Судака. Ходили по горам, купались и пили шампанское. Познакомились с кем-то из руководства и были приняты на шампанском заводе. Были потрясены: никогда нигде такого роскошного «брюта» не пил. Все «*сrumante*», которые появились у нас, это вообще не шампанское. Даже «Вдова Клико», такая, какую мне удалось познать, ей-богу, хуже. Правда, «Вдова»-то была из магазина, а не прямо из заводского подвала, но все равно – «новосветское» осталось недостижимым идеалом 68-го года.

В дощатый домик почты пришла на мое имя телеграмма до востребования: «ТЕБЯ ВЫЗЫВАЮТ ДОЛЖЕН ЛЕТЕТЬ ЧЕХОСЛОВАКИЮ ОТЛЕТ ВОСЬМОГО АВГУСТА ЦЕЛЮЮ МАМА». Я не был тогда, да и никогда не был потом человеком, которого лично (!) посылают за рубеж и который должен (!) лететь. Однако... однако крайне интересно после весенних пражских впечатлений.

Наш отпуск с Симоном прервался на середине, и я вернулся в Ленинград. Нас посылали вдвоем с московским профессором-театроведом Хайченко на скромненький самодеятельный театральный фестивальчик в город Гронов – на севере Чехии.

Отлет был, естественно, из Москвы. Из других городов Союза тогда за границу не летали. М.А.Швейцер, узнав, что я неожиданно окажусь в столице, спешно назначил несколько смен речевого озвучания «Золотого тельца». Двухлетние съемки фильма закончились весной, и теперь в летнюю жару собрать актеров на озвучание было проблемой. С утра до позднего вечера мы стояли перед микрофоном в темном зале и старались вложить в губы своих персонажей произнесенные нами прежде слова. Михаил Абрамович был весел, требователен и полон сомнений. Делали иногда по двадцать и более дублей. Я все говорил: надо успеть до седьмого – восьмого, я улетаю за границу. Зяма (Зиновий Ефимович Гердт) – наш несравненный Паниковский, объехавший со своим кукольным театром чуть ли не весь мир, едко смеялся надо мной: «Вы это Чехословакию называете заграницей? Сережа, у вас склонность к чудовищным преувеличениям. Что за паника? Вы едете в Чехо, извините за выражение, Словакию, а я еду в Красную, не при детях будь сказано, Пахру. Какая разница? И днем позже, днем раньше – не имеет значения».

Мы закончили работу седьмого поздно вечером. Ноги отваливались от усталости. В голове гудело. Но Зяма, как всегда, шутил, а мы хохотали над его шутками. «Прощайте, Сережа! – кричал он. – Ведите себя там хорошо, все время напоминайте себе, что вы находитесь за границей! – И уже во дворе студии: – Не продавайте Родину!.. Дешево!»

С Григорием Аркадьевичем Хайченко мы познакомились при получении авиабилетов и паспортов с визами. Нас посылал СОД – Союз обществ дружбы, организация, наспигованная КГБ так, как нынешнее телевидение наспиговано рекламой. Нам в двух словах напомнили, что обстановка там сложная, что нужно «держатъ ухо востро» и... и всё. И ничего больше!

Я думал, что он стучач. А он думал, что стучач я. Ведь кто-то должен был быть стучачом в нашей делегации из двух человек. Мы быстро долетели до Праги. Нас быстро встретили и поселили в Палас-отеле на Панской улице – совсем рядом с Вацлавской площадью. Мы быстро провели встречу в Доме советской науки и культуры – очень быстро, потому что те, кто пришел на встречу с нами, очень торопились. Мы говорили коротко и неинтересно. И все время думали – кто из нас стучач? Мы быстро поспали в отеле Палас и ранним утром выехали на черной машине «школа». Мы заехали в Страгов монастырь, где работали архи-

висты, и захватили веселого старика – красивого и неряшливого. Он сказал, что его зовут профессор Владимир Браунер. Он был уверен, что мы оба стукачи.

Мы быстро доехали до крайнего севера страны – всего километров восемьдесят. В городе Гронов в школе возле костела мы поселились в пустующем классе. Шесть кроватей стояли по три в ряд, а учебные столы были вынесены в коридор. Мы будем жить совсем на виду друг у друга. Мы толком не знаем, кто из нас стукач. Двое из троих могли подумать, что это я. И так как я привык доверять большинству, я тоже начинаю подумывать, что это я.

Я пошел в туалет. Он был огромен и совершенно лишен уединения. Большой зал с кафельным полом и никаких перегородок. Три унитаза, три писсуара, три душа. Горячей воды не было. Голый профессор стоял под холодным душем и брился без зеркала. Лицо его было в мыльной пене. Профессор сказал, что он пойдет «на пиво». Он мне как будто доложил, что собирается делать. Он думал, видимо, что я стукач.

Я вернулся в класс. Гриша чинно сидел на кровати, положив руки на колени. На нем был черный костюм и синий галстук. Я тоже сел на кровать и сказал, что профессор пойдет «на пиво». И тут же понял, что вот я уже и стукач.

Мы с Гришей Хайченко вышли из школы и очень быстро пошли в лес. Лес был чешский – чистый, прозрачный. На полянке мы сели на пеньки и перевели дыхание. До входа наших танков в Прагу оставалось целых двенадцать дней.

Мы этого не знали. Мы не знали еще, что мы узнаем о нашей ошибке – никто из нас стукачом не был. Стукачей хватало без нас. Мы были маленькой случайностью в большой путанице.

От фестиваля в памяти остались кипучая, творчески и сексуально озабоченная молодежь со всего света с ее неумелыми спектаклями, местный конкурс красоты, где я был членом жюри и с удовольствием разглядывал красавиц, претендующих на звание «Мисс Северная Чехия», и пиво – слишком холодное и слишком вкусное, чтобы можно было остановиться на одном и даже на двух литрах после обеда. Мирная летняя лесная сторона. Сюда, кажется, и газеты не доходили. Правда, появился из Праги озабоченный председатель Общества чешско-советской дружбы и все говорил нервно: «Где доты? Где дзоты? Где укрепления? Какие свастики на домах? Вы видели их? Это же провокация! Это нарочно кто-то нагнетает».

Мы гуляли с нашими замечательными подругами и переводчицами Аленой Моравковой и Мишей Сухаржиновой, пили вино, дышали лесным воздухом и как-то стали забывать и о Праге, и о Москве. Владимир Браунер, наш дорогой пан профессор, политических разговоров сторонился. Он прожил трудную и, судя по всему, лихую жизнь. Был послом в Эфиопии при Массарике, работал в МИДе. В годы социалистического террора этот блестяще образованный историк и полиглот просто спрятался (так я думаю) в пыльных архивах Страгова монастыря, чтобы там попивать и помалкивать. Теперь он разглядывал происходящие перемены с несомненным сочувствием, но и с большой осторожностью.

«За свободу надо платить!» – эта фраза, произнесенная им несколько раз, была серьезным предостережением, и лишь позднее я смог вполне ее оценить.

Фестиваль кончился. Мы вернулись в Прагу. Мы снова жили в огромном Палас-отеле. Последние дни лета, дни прощания. И мы пели нашим переводчицам тут же сочиненную песенку:

Пани, подружки наши,
Пани, не надо слов.
Нежно вам ручкой машем.

Пани, *na shledanou!*¹

20 августа меня на улице окликнули из машины. Я обернулся. Бог ты мой, начались чудеса совпадений этого дня. За рулем сидел Михаил Абрамович Швейцер. Рядом Соня Милькина, его жена и соратник во всех фильмах.

Какими судьбами? – А вы? – Где живете? – Когда домой? – Как наш «Теленок», в смысле «Золотой»? – Что делаете сегодня вечером?

Договорились идти вместе на вечерний сеанс смотреть фильм «Пожар, моя милая!» Милоша Формана.

Пришел в гостиницу – телефонный звонок. Алена Моравкова зовет сегодня вечером к себе – она закончила перевод «Мастера и Маргариты» и сегодня получила подтверждение, что он идет в печать. И сегодня (всё сегодня же, 20 августа!) в Прагу приехала Елена Сергеевна Булгакова – она, несравненная, с которой и написана Маргарита. И она будет вечером у Алены. И хочет меня видеть.

Мы с Еленой Сергеевной знакомы уже несколько лет. С тех пор как я (первым, наверное) исполнил Булгакова по телевидению – отрывки из романа «Мольер». Елена Сергеевна пригласила, и я побывал у нее дома раз и два – там, у Никитских ворот.

Да-а! Ну и вечер намечается у нас сегодня, 20 августа 1968 года, в городе Праге! Смотрели фильм Формана и хохотали. Поднимали рюмки в память Булгакова и в честь Елены Сергеевны на Винарской улочке дома у Алены. Вполпьяна усаживали Елену Сергеевну с сестрой в такси и договаривались повидаться завтра. Твердо запомнили и много раз повторили, чтобы не забыть, название гостиницы, в которой они с сестрой остановились, и тут же забыли. Снова пили – за Алену, за Мастера, за Маргариту, за пражскую весну! Мощно ревели самолеты за окном. И что-то слишком часто.

– Что происходит, Алена? Это у тебя всегда так?

– У нас аэродром недалеко. Так что бывает...

– Ну то-то! А то прямо как война. Ну-ка, давай споем Окуджаву. Где гитара? Начали:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки.
Вы знаете, куда они глядят.

– Да что ж такое – опять самолет! И совсем рядом, как будто сейчас в окно влетит. Ладно, пора домой двигаться. Ну что, Гриша, пешком или такси вызовем? А у вас тут сложно взять такси прямо на улице? Что такое, опять самолет?

Вы слышите, грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...

– Подожди, Сергей, я сейчас позвоню одной соседке. Она по ночам никогда не спит. ...Алло, Мирка! Это Алена... Тут самолеты все время... Что, что?... А это не просто шум с летадло?² А... так... *na shledanou*.

Она сказала, чтобы включили радио...

¹ До свидания! (*чешск.*)

² Аэропорт (*чешск.*).

По радио мужской и женский голоса, сменяя друг друга, говорили возбужденно: «Полностью блокирован аэропорт. Продолжают приземляться транспортные самолеты, и из них выползают танки. Генерал Свобода приказывает войскам не оказывать сопротивления. Призыв к населению – встречайте войска цветами».

Гул в небе стал стихать. Начался рассвет. И мы услышали – сперва отдаленный, а потом близко, на соседней улице, – лязг танковых гусениц.

По радио кричали: «Запомните наши голоса! Нас сейчас подменяют. С вами будут говорить другие люди. Вас будут обманывать. Мы постараемся обратиться к вам на другой частоте. На частоте свободного радио. Запомните наши голоса. (Были слышны стуки и крики.) Внимание, опасайтесь больших черных машин. В городе идут аресты. Опасайтесь больших черных машин. Запомните наши голоса!»

Передача оборвалась. Захлебнулась.

Совсем рассвело, и мы с Гришей пошли по совершенно изменившемуся городу. Подходы к мостам перекрыты танками. Но пешеходов пропускали. Возле каждого танка толпа людей. Танков много, значит, и толп много. Иногда тягостное молчание танкистов и окружающих. А иногда разговоры и крики, и даже воду и бутерброды несут танкистам.

Вот обрывки разговоров:

– Брежнев сошел с ума, понимаешь? С ума сошел! Тебя что, сюда не пускали? Почему ты на танке приехал? (На ломаном русском.)

Танкист (лицо измученное, злое):

– Вас защищать!

– От кого? Мы тебя звали?

– «От кого, от кого...» От фашистов! Они завтра должны были вас захватить.

– На, поешь! Дай там другим своим. Вы откуда, с самолета или с военной базы?

– Не имеем права говорить.

– Но как вы здесь оказались? Вы знаете, где вы находитесь?

– В Германии...

Я (танкисту):

– Послушайте, я свой, из Москвы. Объясните, какой у вас приказ: людей пропускаете, а машины? Они спрашивают – машины будете пропускать?

– Ничего не знаю, отойдите от машины.

– Но люди же должны хотя бы понять, что им можно, а чего нельзя. Чего вы требуете?

– А это какой город?

– Товарищ, они спрашивают, как им быть, к кому обращаться?

– Тут медицинский транспорт, им надо проехать.

– Ой, это не вы снимались в кино «Республика ШКИД»? Не можете расписаться на память? Такая встреча!

В эту ночь мы не спали ни минуты. Не спали и днем. Не спали и в следующую ночь. Разговаривали и пили водку, закусывая яблоками. Другой еды как-то не попало. Ресторан гостиницы закрылся по случаю всеобщей забастовки и в связи с отсутствием посетителей. Август – месяц туристов. До событий гостиница была полна, а теперь... уехали многочисленные немцы, уехали австрийцы, исчезли американцы, французы, скандинавы... Во всем огромном отеле, кажется, остались только мы с Гришей. На нас смотрели с недоумением и плохо скрытой неприязнью.

Мы дошли до вокзала, чтобы узнать, пойдет ли поезд на Москву 22-го вечером. На этот поезд у нас были билеты. Однако вокзал был полностью блокирован, и ползли слухи, что никакие поезда не ходят и не пойдут по причине все той же всеобщей забастовки.

Мы позвонили в посольство, нам ответили, что не до нас. Мы спросили, а как быть? Нас послали на три буквы. Транспорт не ходил, и перемещаться в другую часть города можно

было только пешком. Периодически слышались выстрелы, по радио все время призывали сдавать кровь для переливания раненым. Во всех храмах звонили колокола.

Бесконечные разговоры, колоссальное напряжение и вынужденное полное бездействие угнетали. «За свободу надо платить!» – не раз вспоминалось и обретало разные смыслы. Это требовало немедленного героического поступка – выйти и громко крикнуть, что ... ? Или добраться до Москвы и там публично заявить, что... Поклясться друг другу, что отныне мы...

А потом... потом уже иначе звучало это: «За свободу надо платить!» – чехи только понюхали свободу, мы только вблизи посмотрели, как они ее нюхают, и вот пришла железная сила...

Что теперь начнется в Москве!.. Какая фальшь, какое вранье...

Или какое унылое безразличие на годы и до конца дней...

Возбуждение сменялось унынием. И стыд. Все время было стыдно – говорить по-русски, предъявлять советские паспорта, объяснять, что мы возмущены, испытывать страх перед будущим...

Мы пытались по телефону разыскать Елену Сергеевну, но это не удавалось. Путались названия отелей, путались номера телефонов. Номер Швейцера не отвечал. Богумил Барта и Алена оставались неизменны в своей дружественности, но были совершенно подавлены. Дубчек был вывезен в Москву и после странно кратких и, очевидно, неравноправных переговоров возвращен в Прагу в непонятном статусе. Скоропалительно было создано новое руководство страны, но ходили слухи, что действует другой Центральный Комитет, и в его составе называли моего доброго знакомого – того самого Франтишека Павличека.

Переводчиков у нас не стало, и мы путались, не понимая ни языка, ни обстановки, не в силах принять никакого решения, не имея даже возможности дать знать в Москву нашим близким, где мы и что с нами. Искать контакта с оккупационными войсками было стыдно и неприемлемо. Просить о чем-то чехов – тоже стыдно. Принимающая сторона в лице Общества чешско-советской дружбы исчезла, что было и понятно. Мы еще купили яблок – почему-то много их продавали повсюду, – и у нас еще была литровая бутылка водки. Пили и не пьянели.

На следующий день пошли в большой поход по городу – местами бурлящему, местами абсолютно вымершему. Пошли сдавать кровь и искать Елену Сергеевну. Пишу, как было. На станции переливания крови могли дежурить «наши люди». Или могли спросить паспорта и записать данные. Власть в стране двоилась. Последствия любого поступка были абсолютно непредсказуемы.

Когда на Красную площадь в Москве вышли те *восемь* героев, это был акт смелости невероятной. Самосожжение. Прыжок в пропасть, взявшись за руки. И тогда думал о них с восторгом и замираньем сердца, и теперь.

Мы шли, доверившись туристской карте, иногда несмело спрашивая дорогу и получая недоуменные взгляды и неясные указания. Вопрос – зачем мы шли? Разве мы не понимали, что с кровью обойдутся и без нас? Понимали, конечно. Может быть, мы хотели поразить своей самоотверженностью людей с кровавой станции? Вряд ли. А может быть, спрашивая по-русски дорогу к станции переливания, мы всем этим случайным прохожим хотели намекнуть, что не все советские поддерживают вторжение, есть и другие? Как это мелко, думаю я, глядя из сегодняшнего далека, – капля в море! Но выплывает уже затертая цитированием, но тем не менее прекрасная чеховская фраза: «Я по капле выдавливал из себя раба». Это лучше, чем: «С этой минуты я перестал быть рабом!» – лучше, потому что честнее. Так вот, это и была первая капля государственного непослушания. Первое миллиметровое отклонение маршрута от указующей стрелки, микроскопическое самоопределение *не в художественной, а в гражданской сфере*. В конце концов это была абсолютно невидимая и

никому не нужная акция. Но мы с Гришей шли, и не только ноги пооббивали о камни пражских мостовых – мы еще разглядели друг друга. А это важно. Мы друг другу поверили.

Кровь у нас не взяли. Прием был окончен – раненых оказалось меньше, чем предполагалось поначалу. А вот к гостинице Елены Сергеевны совершенно неожиданно мы вышли. И все описания совпали – что сразу за углом и что напротив обувной магазин. Консьержка указала нам комнату в узком коридорчике. Сестра Елены Сергеевны вчера отбыла в Париж, а сама она сидела в некоторой растерянности посреди уложенных уже чемоданов. Но растерянность ее касалась только простых проблем – будет ли поезд и когда, как добраться до вокзала с довольно объемными вещами. Она мягко, но определенно дала понять, что с моей оценкой случившейся катастрофы вполне согласна, однако обсуждать это считает несвоевременным. Я почувствовал некий ограничитель, запрещающий ей излишнюю эмоциональность в любых обстоятельствах. Может быть, это отголоски благородного стиля прошлых поколений. А может, личный опыт горечи – тех тайных надежд, взлетов и смертельных крушений, которые пережила она с Михаилом Афанасьевичем и после его смерти с его рукописями и посмертной славой.

Алена Моравкова нас не оставила. Это она сообщила в один прекрасный день (то ли прекрасный, то ли ужасный, то ли неясный), что поезд на Москву пойдет. Билеты, даты, номера вагонов значения не имеют, совсем не так много желающих выехать в Москву. Это Алена отвезла нас снова в отель, где остановилась Елена Сергеевна. Мы погрузились и отправились на Главни Надражи. Вокзал был по-прежнему оцеплен танками.

– Дальше мне нельзя, – сказала Алена.

Мы расцеловались. Прошлого жаль не было. Нам было жаль нашего будущего. Тоскливое возбуждение – вот как можно назвать состояние, в котором мы тогда находились. Мы пошли промеж танков, показывая наши паспорта.

Состав подали на первый путь. Провожающих не было. Не было ни объявлений, ни гудков. Поезд тронулся, и медленно, похоронно поплыли за окном серые в дожде пригороды Праги, еще две недели назад поражавшие нас своей веселой нарядностью. Теперь они казались унылыми, обшарпанными, бедными.

(В эти дни и про эти дни Григорий Поженян написал такие строчки:

И ударили вдруг холода
В середине зеленого лета.
Никому не понравилось это,
Но никто ничего не сказал.

Он прочел мне эти строчки через год, и я вспомнил – точно! Точно так было в тот вечер прощания с Прагой.)

Не спалось. Которую ночь подряд – не спалось. Известный кинокритик, выбиравшийся с какого-то симпозиума, говорил в коридоре о чехах:

– Это их кто-то накачивает, настраивает на враждебность к нам. Против чего забастовка? Что мы им, зла желаем? У нас же общее дело. Нет, кто-то в них сознательно разжигает ненависть к нам, к тем, кто их освободил, к их друзьям...

– А если друг приезжает в гости на танке, вам не кажется... – начал я.

В коридор выглянула Елена Сергеевна и настоятельно позвала меня в наше купе. «Не надо говорить, не надо доказывать, – шепнула она. – Они не хотят слышать и не слышат. Значит, и слова пустые».

Мы молча сидели втроем – она и мы с Гришей Хайченко. На столике подрагивали пустые стаканы в подстаканниках и стояла бутылка «Чинзано». Это я купил в баре Палас-отеля в последний момент.

Теперь уже трудно поверить, но в те времена советский гражданин на территории своей страны не имел права иметь в кармане никогда никаких иностранных денег. Если же они почему-то были, он обязан был в кратчайший срок сдать их в соответствующие учреждения. Поэтому тратили за границей всё до копейки, как перед концом света. Последний день любой поездки превращался в сплошную истерику – не успею, не потрачу. На этот раз обстоятельства лишили нас всякой возможности что-нибудь купить. Всё, что было при нас, оставили друзьям. Но в последний момент вдруг обнаружилось еще сотни три крон, и я купил «Чинзано» – в Москву! Дар Европы! Не знаю почему, но тогда именно вермут «Чинзано» казался верхом роскоши и тонкого вкуса. (Пьеса Людмилы Петрушевской с тем же названием была именно тогда написана.)

Так вот, бутылка «Чинзано» стояла на столе, но она была неприкосновенна!

Долго стояли в Оломоуце. Тепловоз ушел, а другой не хотели цеплять. Забастовка шла по всей стране. Потом поезд тронулся. Хлопнули двери, и несколько человек в мокрых плащах быстро прошли по вагону, выкрикивая что-то на ходу. Из купе высунулись немногочисленные пассажиры, и кто-то перевел: «В Россию поезд пропущен не будет».

– Но нас не могут бросить на произвол судьбы. Нас обязаны защитить, – взвизгнул кто-то в дальнем конце вагона.

Насильник чувствует себя жертвой и испытывает благородное негодование. Как часто потом приходилось наблюдать этот феномен. Да, мы – лично мы – представляли насилие. И этого нельзя было забывать. И нельзя взвизгивать. И нельзя ни на что жаловаться, потому что мы в светлом и относительно теплом вагоне едем по мокрой, оккупированной *нами* стране. Так я думал тогда. Во мне тогда жило (да и сейчас никуда не делось!) это вечное, воспитанное социализмом «мы». Я – часть. Я что-то значу, но «мы» важнее. Как интеллигент, я старался не быть участником агрессивных акций «мы». Я не клеймил, не участвовал в коллективных проклятиях, не подписывал писем осуждения. Но ответственность за эти деяния я полагал необходимым разделить с «мы». Собственно, в этом ощущении и было для меня доказательство моей интеллигентности как синонима благородства. Я не достиг еще великолепного индивидуализма высокоцивилизованного человека, который отвечает только за себя и является перед Всевышним *целым*, а не частью чего-то. Впрочем, я и сейчас этого не достиг и вряд ли достигну когда-нибудь. Более того, я стал терять уверенность, что этого следует достигать. Конформизм может являться в разных обликах и с разными знаками. А как насчет *смирения*? А оно хорошо или не всегда? А есть ли *общая вина*? А действительно ли *нет наказания без вины*? Могу ли я достигнуть той степени индивидуализма, когда говорю только от своего имени и отвечаю только за себя, и никто не смеет говорить от моего имени?.. Так я думаю теперь. А тогда мне казалось только, что визжать нельзя!

Движение укачало, и пришел сон. Утро застало нас в Польше. Границы были нарушены, и никто не спрашивал ни виз, ни паспортов. Пришла сила, и все эти строгости, все эти козыряющие козырные тузы в конфедератках – все оказалось мнимым. Старший брат грохнул кулаком по столу, и мой краснокожий паспорт стал PASSE PARTOU – проход повсюду, и он же билет на все транспортные средства – везде, аж до самой жирной границы того, другого, дальнезападного мира.

В Варшаве было солнечно. Мы стояли на открытом пространстве привокзальной площади и ждали, что кто-то спросит нас, кто мы такие и чего нам надо. Меня бесконечно раздражала равнодушная и, как мне показалось, веселая суeta этой площади. Город был спокоен. Он смеялся, насвистывал, спешил на работу, покрикивал на детей, кормил их мороженым.

Хотелось крикнуть: «Как вы можете? А Прага? Вы ведь тоже вторглись вместе с нами. Вас там кот наплакал, но ведь тоже вторглись!» Но я заткнул себе рот очередной сигаретой.

Кто-то куда-то пошел выяснять относительно нас.

А мы всё перетаптывались посреди площади. Гриша неловко повернулся, толкнул ногой, и... моя бутылка «Чинзано» ударилась горлышком о край каменной тумбы и разбилась вдребезги.

У меня началось что-то вроде истерики – да что же это такое! И танки в Праге, и мы непонятно где, и денег ни копейки, и «Чинзано» разбилось, да лучше б мы его в поезде выпили!

– Успокойтесь, – сказала Елена Сергеевна. Она держалась великолепно. – Обещаю вам в Москве бутылку «Чинзано». Твердо обещаю.

К вечеру нас отправили самолетом. Было уже совсем темно, когда я добрался до квартиры Симона Маркиша на Плющихе. Я курил, говорил и не мог остановиться. Позвонил в Ленинград – маме. Она сказала: «Не приезжай! Тебя тут ждут из всех газет с рассказами. Тебя замучают».

Позвонил Наташе Теняковой, с которой тогда только начинался роман. По ее первому телефонному вскрику, по ее голосу почувствовал именно в этот момент – она все понимает, без всяких объяснений, хочу с ней быть, с ней хочу прятаться до конца дней.

Наутро позвонил Грише и Елене Сергеевне справиться, как они после нашего путешествия. Елена Сергеевна сказала:

– Заходите ко мне.

Пили чай с коньяком. Потом она протянула мне непонятные чеки:

– Возьмите. Купите «Чинзано» и хороших сигарет, вы столько курите.

– А что это?

– Это сертификаты для магазина «Березка». Это из гонорара за «Мастера и Маргариту» на чешском языке. Так что считайте, что это маленькая компенсация от Михаила Афанасьевича за все неприятности.

«Березка» была на Дорогомиловке. Швейцар со страшными глазами глянул на сертификаты, на загранпаспорт и пропустил нас с Маркишем. Хватило на многое – две бутылки «Чинзано» и два блока «Кента». Рубль, если он «оттуда», тогда стоил дорого.

Мы с Хайченко пошли в СОД сдавать паспорта. Написали отчет о поездке. Мы решили по смыслу одинаково написать: отношение было хорошее. Никаких оснований для вторжения в Чехословакию я лично не видел. Вторжение считаю ошибкой. Дата, подпись.

Равнодушная секретарша швырнула наши отчеты в ящик стола и выдала наши «внутренние» паспорта. Канула в вечность наша поездка, нещедро оплаченная СОД (или КГБ? Или, как теперь говорят, налогоплательщиками?). Прочел кто-нибудь наше скромное мнение, сделал выводы или вовсе нет?

Никогда не узнал этого друг мой Гриша, Царство ему Небесное!

И я не узнал. Когда позже начались неприятности с обкомом и с органами, этот эпизод никогда не упоминался. А впрочем... кто их разберет!

Меня и в Москве сторожило несколько газет. Понятно было, каких формулировок ждут от меня. А героев с Красной площади уже арестовали и собирались судить «за нарушение уличного движения». А в Праге шла активно та самая подмена, о которой кричали дикторы радио в ту ночь: «Запомните наши голоса!» Я запомнил, и потому другие голоса наводили на меня тоску.

В Питер я по совету мамы и при поддержке Наташи не поехал. Маркиш спрятал меня в Дубне – в ста километрах от Москвы. Мне помогли снять там номер в гостинице. Я спал и купался в Волге. Знакомых в этом городе у меня было мало.

Физики бурлили. Я снова спал и купался. Потом один из знакомых – Саша Филиппов – позвал в компанию послушать песни под гитару. Народу пришло много, было тесно. Певец и слушатели сидели вплотную. Пел Александр Галич. Песня «Облака» мне очень понравилась. Были там и другие песни, сатирические, смешные. Но я что-то никак не мог засмеяться. Душа закрылась.

Варшава – Франкфурт-на-Одере

Весь день поезд шел через Польшу. Виталий Геннадьевич то спал, храпя и облизываясь, то бегал в соседний вагон, о чем-то договаривался, что-то таскал туда-обратно. Его волновала немецкая граница, и интерес ко мне улетучился. Я пытался читать... пытался заняться французским языком... но это были только благие намерения. На самом деле я час за часом смотрел в окно, курил и ни о чем не думал.

Москва все отдалялась, и московские заботы расплывались. А заботы были, и весьма серьезные. Через три месяца я должен был начать – впервые в жизни – снимать «свой фильм»: «ЧЕРНОВ» – моя постановка и сценарий по моей же повести. Всю осень и зиму я готовился. Писал режиссерский сценарий, договаривался с оператором, с художником, создавал группу. Я знакомился с десятками и даже сотнями людей, составлявшими сложный механизм «Мосфильма». Шел четвертый год перестройки. Крупнейшая кинофабрика страны доживала свои последние сроки, но все еще производила впечатление мощной и неприступной. То, что я проник сюда со своей повестью, можно было назвать чудом. Десяток лет назад я совершил уже пробег по этим коридорам и кабинетам. Тогда я остро пережил жутковатый эффект внезапного очуждения, эффект «мгновенной смены лица». Мне казалось, что я знаю каждый закоулок «Мосфильма». К тому времени я нашагал по этим коридорам не одну сотню километров, с моим участием были насняты здесь и прокручены тысячи метров пленки. Со мной здоровался каждый встречный, и я здоровался с каждым встречным. Мы все знали друг друга... Так казалось. Казалось, пока я шел в гриме и костюме Бендера или Импровизатора, справа от меня шла ассистентка, слева костюмерша... так казалось, пока я был (довольно долго!) снимаемым, *утвержденным* актером. Но вот меня вдруг что-то перестали *утверждать* — это еще только начиналось... еще и слухи не успели разползтись... но запах пошел... И тут уж ничего не поделаешь... большинство лиц стали незнакомыми... оставшихся знакомых захлестнули дела, у многих отшибло память... в самых любимых, самых уютных уголках студии как-то разом везде начался ремонт... в очереди в буфет перестали находиться люди, кричащие: «Сюда, сюда, он передо мной занимал!»

Я принес тогда на студию заявку на постановку фильма по повести Зои Журавлевой «Островитяне». Мне нравилась эта повесть, я «заболел» ею. И вот претендовал на то, чтобы стать режиссером. А как раз в это время меня как актера и раз, и два *не утвердили* на роли... а я лез в режиссеры, то есть в начальники. Ах, как не-осторожно! Ах, какая ошибка! Я ведь уже под колпаком, а вести об этом распространяются быстрее света... Да нет, меня принимали... при некоторой настойчивости принимали даже в самых главных кабинетах, но... уж слишком смело сверкали глаза при словах: «Я-то лично был бы за то, чтобы вы попробовали начать переговоры о возможности встретиться с кем-нибудь в Комитете по этому вопросу». Режиссер-то должность распорядительная, а значит, номенклатурная. Потому и стояло отчаянье в глазах того, кто похлопывал меня по плечу и говорил: «Но во всех случаях не надо отчаиваться!»

Странными рывками дело шло – уже и группа создавалась, и с оператором мы познакомились... экономисты начали обсчитывать экспедицию на Дальний Восток... потом все стопорилось, и со мной говорили в больших кабинетах грустные вежливые люди: «Вы, стало быть, даже и беспартийный? А какие у вас отношения с вашим обкомом?... Странно... очень странно... Тут, может быть... хе-хе... знаете, пятый пункт... Как? Так вы не... Неожиданно... Что, совсем не... ах, отчасти все-таки... Тут вопрос внешности может играть роль... ах, да, вы же режиссер в данном случае, ха-ха, при чем тут внешность...»

Опустив глаза в пол, тогдашний директор студии (надо сказать, человек мужественный и прямой, у меня осталось к нему чувство симпатии) вручил мне бумагу: «В настоящее время указанная выше должность предоставлена вам быть не может». И мы расстались.

И я расстался с моими режиссерскими претензиями. Потом с родным БДТ. Потом с Ленинградом.

Так что мое проникновение на студию теперь, через десять лет, с собственным сценарием действительно можно было назвать чудом. Это было смелым решением Юлия Яковлевича Райзмана – одного из патриархов нашего кино, непритворно мною уважаемого. Ему понравилась повесть. Но многое настораживало. Пугала еврейская тема – боковая, но очень важная в будущем фильме. Опытный Райзман согласился на Гольдмана, но уже второго персонажа – Когана – решительно потребовал заменить на армянина. Райзмана раздражала двойственность финала, возможность различных толкований. Попахивало мистицизмом. Его категорически не устраивал предложенный мной исполнитель главной роли. Я хотел, чтобы Чернова сыграл Андрей Сергеевич Смирнов. Андрей был тогда секретарем бунтарского Союза кинематографистов. Во время какого-то пленума или собрания я сидел в зале и глядел на него – в президиуме... на трибуне... этот глухой голос, эта гримаса улыбки, эта мука в глазах... прекрасная речь... Мы с Андреем были шапочно знакомы, встречались пару раз... Я дал ему прочесть сценарий, и он не пришел в восторг... Сделали пробу... Да, это был мой герой! И (так мне кажется) персонаж был настолько близок Андрею, что он не мог воспринимать его объективно. Он его, можно сказать, пропускал, как собственное отражение в зеркале. Мне еще предстояло склонить его к самоанализу и концентрации внимания. А пока что его забавляло само предложение – ему, не актеру, играть главную, даже две главные роли.

На это давил Райзман – да, Андрюша сын всеми нами любимого Сергея Сергеевича Смирнова, да, Андрюша снял «Белорусский вокзал», и этот фильм в золотой десятке лучших. Но он не актер. Он не сумеет. И зрители не знают его в лицо. С таким героем картина обречена.

Я и сам сомневался. И Андрюша Смирнов сомневался. А в картине еще более пятидесяти ролей, и почти со всеми сомнения. Но все же во взаимоотношениях с актерами, с художником, с композитором я по крайней мере могу сформулировать задачу, объяснить, чего ищу, а в организационных делах, в сложнейшей мосфильмовской дипломатии у меня ни опыта, ни (как оказалось) способностей. Я хожу по кабинетам, объясняю, прошу, умоляю, стараюсь быть обаятельным, стараюсь использовать свою актерскую популярность, но... тут совсем другие законы общения.

...Заграничная экспедиция нам необходима – поезд идет через всю Европу, в этом смысл картины. «Я могу заменить Барселону на Лиссабон, могу на Марсель, но не могу вместо Барселоны снимать Ригу, – втолковывал я директору объединения. – Нам необходимо хоть в некоторых эпизодах снимать заграничные поезда – другие вагоны, другие платформы, другие светофоры. Там же все другое – от километровых столбов до дверных ручек».

Старый директор много повидал таких, как я, и много подобных монологов слышал. Он вежливо улыбался, понимающе кивал головой и говорил: «Вот и ищите, ищите... никто для вас не будет таскать каштаны из огня...»

Какие каштаны? Почему мне? Вы же директор, и это ваша забота организовать съемки в соответствии с утвержденным сценарием! (О, я уже начал овладевать демагогической речью!)

– А я и организую, – легко парирует босс, – немедленно организую, как только будет приказ и будут выделены вам средства. Пожалуйста, я даже сам лично съезжу с вами в Барселону.

– Хорошо, я пойду на прием к нашему министру. Как его имя и отчество? Как его зовут?

Директор объединения поднял глаза к потолку и вдруг впал в странную задумчивость.

– Есть у вас его прямой телефон? – настаивал я.

– Лена! – крикнул директор объединения. – Принесите мне чаю с лимоном. Хотите чаю? – обратился он ко мне. – Не хотите? Тогда зайдите ко мне в пять часов. В пять часов, но не позже!

В душе моей вспыхнула неясная надежда.

В пять часов я уселся в кресле перед его столом и крепко сцепил в замок слегка дрожащие руки. Мудрый директор смотрел на меня с улыбкой превосходства и некоторого упрека.

– Возьмите... – сказал он и подвинул ко мне конверт.

О Боже! В конверте был сложенный вчетверо лист. Я развернул. Крупным почерком было написано: председатель комитета по кинематографии такой-то (фамилия, имя, отчество) – телефон приемной такой-то. Всё!

Директор укоризненно покачивал головой.

– А?! Работает контора? – спросил он гордо и сам себе ответил: – Как часы работает: полдня, и готово! Можете звонить! Попробуйте попасть на прием... попытайте счастья – может, и поможет... А мы что могли сделали.

В Москву приехал Тонино Гуэра – знаменитый сценарист, друг и соратник Феллини и других самых великих. Меня свели с ним, и он терпеливо выслушал волнуемый (так мне казалось!) сюжет моего сценария. Но Гуэра не взволновался. Пушкинская фраза «Чёрт догадал меня родиться в России с душою и талантом» – фраза, из-за которой десятилетиями ломали копья и которая в конечном счете была базой всех переживаний моего героя, – эта фраза не показалась почтенному маэстро особенно значимой. Он родился в Италии, и его это, полагаю, вполне устраивало.

– А кто у вас играет главную роль? – спросил он. – Табаков?

– Нет.

– Почему не Табаков?

– Он не подходит, это не его амплуа.

– А Михалков?

– Нет... совсем нет... это другой тип человека.

– А из европейских актеров кто у вас будет играть?

– Я сейчас пытаюсь договориться с Тадеушем Ломницким. Это мой друг. Я хотел, чтобы он сыграл дирижера Арнольда.

– Кто это – Ломницкий?

– Это очень крупный польский актер.

– Ах, польский... Я сейчас вам нарисую картинку.

Он быстро цветными фломастерами набросал прелестную миниатюру – стол, кусок окна, керосиновая лампа – и протянул мне:

– Это на память. Я надпишу. Напомните, как вас зовут... Так вот, Серджо, на Западе, кроме Табакова и Михалкова, других имен отсюда не знают. Вы должны договориться с настоящей звездой – американской, в крайнем случае немецкой, иначе это нереально.

– Но своего героя я уже нашел... Это Андрей Смирнов, он известный режиссер, он снял замечательный...

Гуэра уже завершил надпись на рисунке и протянул его мне:

– Вы никогда не снимете вашего фильма.

Ах, как он был прав! И как он был не прав! Ведь я все-таки снял этот фильм. Он есть на пленке. И Чернов в исполнении Андрея Смирнова едет в поезде по Испании и погибает на площади San Augustin в настоящей Барселоне. Фильм этот не раз шел по телевидению и имеет своих поклонников. И этих поклонников волнует проблема «чёрт или кто другой

догадал нас родиться в России». И Андрей Смирнов получил даже приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале. Так, значит, он есть, этот фильм, и существует мой Чернов?! Для нас – есть.

Но Тонино Гуэра говорил от имени мирового кино, к которому и сам он, несомненно, принадлежит. Там другие законы, другие актеры, другие темы, проблемы, ценности, деньги... Там другие качества, другие количества, другие кинотеатры, другие премьеры, другие вкусы... И там *нет* — нет ни моего фильма, ни меня самого, ни моих коллег, ни нашей актерской школы, нашего опыта жизни, наших успехов, провалов, достижений. Там, у них, есть великие актеры. И у нас есть великие актеры. И режиссеры. *Великие* — для нас! Не для них. Это не ниже. Это по другому списку. И то, что некоторые фамилии встречаются и в том, и в другом списке, следует считать приятным совпадением, случайностью... или результатом невероятных, долгих (а может быть, ненужных?) усилий.

Это не трагично. Это даже не печально. Это просто так есть!

Через пару лет после «Чернова» я уже всерьез оказался в самом сердце Европы. Полгода я работал актером в парижском театре Bobigny. Потом еще и еще раз пробовал: играл (в Национальном театре в Брюсселе) и учил играть (во Франции, Англии). В результате начал понимать: не ленись, имей терпение, имей упорство, и ты займешь свое какое-нибудь 564-е место (или 1564-е) в списке ТОЙ культуры. Я буду 564-м (или 1564-м) в очереди за товаром, который называется «интерес заграничной публики». Но не только я от нее далек, но и она далека от меня. Я стою в необыкновенно длинной, очень медленнодвигающейся очереди за абсолютно ненужным мне товаром.

Только, умоляю, не скажите мне сейчас: а наши музыканты? А балет? А Барышников?! Преклоняюсь перед музыкой, перед ее всемирностью. Обожаю мастерство наших гениев. Счастлив, что довелось дружить и вместе выступать с Крайневым, Спиваковым, Крамером, Стадлером, Китаенко, Федосеевым. И балетом я до слез восхищался, и великие Катя Максимова, Володя Васильев и Миша Барышников – мои товарищи. Но... (боюсь кого-нибудь обидеть, боюсь на что-то посягнуть!), но... молчаливые искусства, искусства звуков и движений, есть все-таки... услада! Вот вывел это слово на бумаге и опять испугался. Но повторю – УСЛАДА! Услада жизни – во всей амплитуде взлетов и снижений, откровенности и изыска, ностальгии и предчувствий.

А слово... *Слово* — это другое. (Удержусь, не произнесу напрашивающегося: «В начале было Слово...», хотя и в этом смысле понимаю великий зачин Евангелия от Иоанна.) Слово есть явление, требующее не только восприятия, но ответа. Не только сочувствия, но диалога. Слово принадлежит определенному языку и не может быть от него оторвано. Оно не *всемирно*, оно *всемерно*, в нем все меры – и музыка в нем, и скрытый жест, и правда, и красота, и милость, и истина – всё в нем. И потому в конечном счете не государственная граница есть барьер, а предел культурного анклава, тяготеющего к определенному языку. К ритму, интонации, краскам этого Слова.

Поезд шел через Польшу. Вперед, вперед! Я ставлю эксперимент – за три месяца до начала съемок я сам, как мой герой Пьер Ч., еду и еду по Европе, всё на запад и на Запад. Я абсолютно частное лицо (впервые в жизни). Я получил частное приглашение от моего друга Маркиша. За свои собственные деньги купил билет – впервые в жизни – в заграничный поезд. И во всех таможенных декларациях на разных языках на вопрос о цели поездки я пишу гордое слово *private* — частная!

Мы едем на закат. Вечереет. Солнце, наверное, бьет машинисту прямо в глаза. Летящие тени от вагонов косо отброшены назад. Я считаю: одна, две, три... всего нам нужно преодолеть двенадцать границ. Две позади. Впереди десять.

Франкфурт-на-Одере – Берлин

Необычное путешествие. Странные границы. Еще столько увижу я их через это мутноватое окно: польско-немецкая, немецко-польская, немецко-немецкая (Западный Берлин), Западный Берлин (Zoo), третья немецко-немецкая (Западный Берлин – ГДР), четвертая немецко-немецкая (ГДР – Западный Берлин), пятая немецко-немецкая (ГДР – ФРГ), шестая немецко-немецкая (ФРГ – ГДР), немецко-швейцарская, швейцарско-немецкая.

Тени бегут назад, а мысли постепенно от Москвы начинают перемещаться вперед – в неведомую, хоть и вечно на слуху, Женеву, к нашему свиданию после стольких лет разлуки с моим самым близким другом. Впрочем, свидание уже состоялось, но краткое, не давшее настоящего общения. Это было два года назад.

27 марта 1987 года я дал сольный концерт в Большом зале парижского театра Odeon, Вел переговоры и осуществил мою поездку Госконцерт СССР. Мне оказывалась большая честь, и, чтобы я вполне это осознал, меня вдоволь погоняли по кабинетам и этажам Дворца Госконцерта на Неглинной, 15. Все время не хватало либо чьей-то подписи, либо какой-то справки. Госконцерт был настолько заботлив, что тщательно проверял тексты каждого номера моей программы. А так как программа была на двух языках, потребовал представить напечатанные на машинке французские тексты и их перевод на русский язык. Большей частью это были стихи Пушкина в переводах Марины Цветаевой и произведения Проспера Мериме в переводах Пушкина. На всякий случай, ограждая меня от любых неприятных случайностей и провокаций, Госконцерт приказал дать на проверку и пушкинские тексты. Машинки с латинским алфавитом у меня не было, и я писал от руки страницу за страницей печатными буквами. Вот, ей-богу, мне искренне интересно, кто это читал и читал ли это кто-нибудь?

Переводчика мне не полагалось, поправить мое произношение в международной организации Госконцерт никто не помог (да и умел ли?). Поклон и благодарность дорогим моим приятелям Лене Наумовой и французскому поэту Анри Абрилю, поселившемуся тогда в Москве, – они прослушали мою программу и по мере сил и времени попытались «вправить» мой французский.

Пришла пора, и Госконцерт вручил мне заграничный паспорт, билет туда-обратно и (даже!) деньги – 3000 франков. По тем временам это примерно 500 долларов. Это суточные и гонорар за сольный концерт в зале почти на 1000 мест. Мне сообщили, что гостиница оплачена за двое суток, а если я задержусь, то должен как-то сам что-то придумать. И вообще (сообщили мне), за-граничный литературный концерт – это у них впервые, они не считают это направление перспективным и, честно говоря, сильно удивлены, что французская сторона меня пригласила. Я и сам был удивлен, хотя и осчастливлен.

(В скобках!!! Хотите узнать то, что я узнал куда позже, – откуда взялось приглашение? Хотите? Могу рассказать! Но в скобках! Это можно и не читать.)

В 1985-м, во время свирепой войны с пьянством в нашей стране, приехал к нам знаменитый театр *Comédie FranCaise*. Был прием в Доме актера – еще в том, прежнем – на Горького, 16, возле Пушкинской площади. Вино запрещено *ка-те-го-ри-чес-ки!* За этим следят специальные люди. Если что... все начальство поснимают с работы. Но как *французов* принимать без вина и вообще без... короче, с лимонадом?! Меня по-дружески попросили броситься на амбразуру – вести это застолье человек на восемьдесят и без спиртного. Я, как мог, изворачивался, льстил, рассказывал анекдоты, поздравлял, восклицал, объяснял...

В числе прочего читал по-французски Пушкина для отвлечения внимания от главного. И все говорил, что, дескать, воздержание полезно, что, мол, столько выпито, что теперь уж можно бы и... обойтись, что ли... Вот, не угодно ли – на столах русский квас, отличная

вещь... Французы сперва думали, что я шучу, весело смеялись и всё потирали руки в предвкушении – когда же принесут то, без чего застолья, собственно, и не бывает. Потом глядят – не до шуток. Один квас! Опять я им Пушкина почитал. И они очень-очень внимательно стали слушать: может, думают, тут местный секрет какой – стихи вместо выпивки?

А потом смекнули и... послали троих в гостиницу в бар «только для иностранных граждан», и те в шести сумках... Короче, понятно? Вечерок получился отличный, особенно по тем «сухим» временам. К полуночи мы от всей души братались. А была среди них и давняя моя приятельница, замечательная французская артистка и душа-человек Катрин Сальвиа. Она по своей открытости и даже наивности, похоже, не поняла, что произошло, и все поздравляла меня, как я остроумно все это затеял и провел.

Прошло время, у нас вернулось питье в прежнем объеме и откровенности. Французы жили себе и играли в своем Париже. И тут парижский Odeon становится Театром Европы, а директором его великий Джорджо Стрелер из Милана. Катрин Сальвиа играет в постановке Стрелера и дружит с ним. Стрелер ищет спектакли и исполнителей из разных стран для интернациональных сезонов в своем Театре Европы. Из России приглашает «Таганку».

О! О них много говорят на Западе – знаменитые диссиденты. А нет ли еще кого, чтобы на новенького, чего-нибудь неожиданного и без больших затрат на перевозку декораций? Тут Катрин и говорит – да вот есть! Есть один – Пушкина читает по-французски довольно не-ожиданно. Вот и коллеги подтвердят! А коллеги: ах, это тот, который за стол без вина посадил и с которым потом так славно пили? Да, это была неожиданность, конечно, о чем говорить! Стрелер и говорит своей секретарше – вызывайте, и думать нечего! Один человек с одним чемоданом? Вызывайте!

И получает Госконцерт телеграмму...)

Повторяю – это в скобках, это гипотеза. Может быть, так все и было, а может, и нет. Только со Стрелером у нас тогда дружба была односторонняя: я его знал и восхищался его спектаклями уже лет двадцать, а он обо мне и понятия не имел. Потом мы действительно подружились, я трижды выступал в Милане по его приглашению. И был потрясен им как актером – видел его в нескольких ролях и на репетициях. И тяжело переживал его кончину и писал некролог. Но это все потом, потом... а тогда...

Получает Госконцерт телеграмму... .. и...

Париж! Quartier Latin! Odeon! Узкая длинная улица Вожирар идет возле театра от бульвара Сен-Мишель к бульвару Монпарнас (названия-то какие!). И там, на этой Вожирар, – буквально пять минут пешком – отель(чик) «Трианон». Номерочек малюсенький, окно выходит чисто по-парижски – в глухую стену соседнего дома. Туалет, умывальник, душ – всё на одном квадратном метре за довольно замусоленной занавеской. Скрипучая, пропрыганная предыдущими постояльцами широкая кровать. Узкий шкаф. Чемодан поставить некуда. При этом цена номера около 400 Fr.F par jour! Это при моих 3000 на неделю. Боже ты мой, ногу поставить некуда. Это, стало быть, мне, гастролеру, живавшему в люксовых анфиладах Перми, Горького, Кемерово и Иркутска?! Как же тут репетировать, тут же руками не взмахнуть, но...

Париж! Quartier Latin! Odeon! Rue Vaugirard! Hotel Tryanon!

Я иду по *этим* камням, мимо *этих* кафе... Каждый шаг, каждый уголок и закоулок здесь многократно описан (в обоих смыслах этого емкого русского слова). Здесь дышат века культуры и великие традиции художественного пренебрежения любыми правилами и предписаниями.

Роскошный, мощный, с классической колоннадой театр Odeon. В нем два зала. И сперва предполагалось, что литературный концерт должен идти в малом зале. Но потом – мне это объяснила мадам Айс, секретарь Стрелера, – было много заказов на билеты, и концерт перенесли в большой зал. Элизабет Айс! Я никогда не видел вблизи такой ослепительно

ухоженной, такой роскошно-хрупкой женщины. Самого маэстро Стрелера в Париже сейчас нет, объяснила она мне, но она сделает все, чтобы мое пребывание здесь было комфортным. Что мне необходимо?

Прежде всего поменять билет! Я хотел бы пробыть здесь не двое суток, а хотя бы неделю: жестоко отправлять меня из Парижа в семь утра на следующий день после концерта.

– Но мы просто полагали, что господина Юрского ждут неотложные дела.

– О, не беспокойтесь, господин Юрский отложил все дела и жутко хочет задержаться в Париже до конца недели. И потом... если билет меняют, нельзя ли просить оплатить мой отель на этот срок?

– Но... – Ослепительная Элизабет смотрит на меня с недоумением, – но господин Юрский мог бы и сам... – Тут она начинает смущенно запинаться, и тень подозрения возникает в ее прекрасных глазах: может ли она спросить, каков гонорар за концерт г-на Юрского, полученный им в Госконцерте?

– Три тысячи, – говорю я. – *Trois mille*.

– Долларов?

– Франков.

Мадам Элизабет вздрагивает, опускает глаза и долго не поднимает их. Сквозь дивный макияж проступает естественная краска. Это стыд за Госконцерт – очень уж крутые комиссионные. Мадам Айс поднимает наконец на меня глаза и говорит, что она все устроит.

Утром 27-го приезжает Симон Маркиш. За полчаса до прихода женевского поезда я уже мерил шагами платформу Лионского вокзала.

Симон был налегке: сумка через плечо и зонтик. Мы не виделись четырнадцать лет. После его эмиграции было много сложного и в его, и в моей жизни. Мы переписывались – с оказией, а иногда и прямой почтой. Как ни странно, письма доходили. Они шли по месяцу и более, но доходили. Два-три раза мы рискнули говорить по телефону. Двадцать лет перед этим мы дружили – крепко и захватывающе интересно. У Симона был широкий круг знакомых в среде московской литературной интеллигенции. Его ценили и любили за талант, легкость, широту взглядов, колоссальную образованность, обаяние. В него влюблялись женщины, и он влюблялся в них. А у меня был свой – тоже широкий – театральный круг. На наших московско-ленинградских встречах круги смыкались и перемешивались, к обоюдному удовольствию и тех и других.

Двадцать лет мы дружили. Потом четырнадцать не виделись. И вот он идет мне навстречу по крытой платформе *Gare de Lyon*. Издали мне показалось, что он и не изменился совсем – та же легкая быстрая походка, та же отрывистая жестикуляция. Руки раскинуты в позиции удивления и приветствия. Седины и не видать. Издали. Вблизи... вблизи мы обнялись, и я не разглядывал его лица.

Через час у меня репетиция. Вечером тот самый концерт, ради которого я приехал. Мои мысли дwoятся между нашей встречей и вечерней ответственностью. Мы даже выпить не можем за встречу! Я никогда – это закон – ни капли не пью перед выступлением.

Вечер. *Odeon* почти полон. Сажу в гримерной и слушаю по внутреннему радио шум зала. Речь больше русская, редко услышишь французскую фразу. Началось.

Я исполняю по-русски и по-французски Пушкина, Бодлера, Верлена, Превьера.

Слушают. Хлопают. Успех переменный. Второе отделение только по-русски. Чехов, Мопассан, Булгаков. Смеются, но как-то не очень. Бернс – кантата «Веселые нищие» – почти орация. Но удар был в финале – «Сапожки» Шукшина. История про то, как ездили в город за запчастями, и Сергей Духанин купил жене Клавде жутко дорогие сапожки – за 65 рэ. А они оказались малы.

Я разыгрывал этот рассказ, сидя за столом среди пустых стульев. Курил «Беломор». То есть все собирався закурить, да неприятности разные отвлекали: то продавщица нахамит, то

свои же кореша-работяги не так поймут. И только в самом финале наконец закуривал, пуская в зал едкий дым. Зал затих.

Последние слова: «Дело в том, что... дело в том, что... ничего... хорошо». Не нашел слов, помолчал, еще раз выдохнул дым и ушел со сцены. И тогда... тогда было хорошо, было здорово.

Зажегся свет в зале, и я увидел среди аплодирующих моего коллегу и товарища по Ленинграду Толю Шагиняна, моего опального друга, выдающегося литературоведа и переводчика, изгнанного из Союза, Ефима Эткинда. И великого смельчака – ирониста и эксцентрика, бывшего советского заключенного, бесконечно талантливого Андрея Донатовича Синявского с его верной Марией Васильевной Розановой. И утирающего слезы – постаревшего, но как-то по-юношески красивого и стройного Виктора Некрасова.

Потом были дни разговоров и молчаний. Были пивные на бульваре Сен-Мишель и рестораны с устрицами (уже тогда начал понимать, что это блюдо не для меня). Было белое вино и красное вино. И была водка. С чоканьем и с молчаливым вставанием.

Вышел очередной номер «Русской мысли», и в нем рецензия Некрасова на мой концерт. Одна из самых памятных для меня рецензий за всю жизнь. Он в статье все недоумевал – зачем надо читать по-французски? Кому это надо? И зачем на мне смокинг? И бабочка?! И к чему Мопассан и даже Чехов? К чему столько усилий, если есть шукшинские «Сапожки», расстегнутый ворот рубахи, простая история человеческого примирения и выдох прогорклого дыма от сырой «беломорины».

ВИКТОР НЕКРАСОВ. В коротенькой курточке, карманы почти под мышками, с непокрытой головой, шикарные, можно сказать, пижонские усики на позавчера выбритом лице, озорные внимательные глаза – Виктор Некрасов смотрится настоящим, исконным парижанином и вместе с тем абсолютно *нашим*, прежним – каждым жестом, каждым шагом перечеркивающим и время, и расстояние.

Пиво, пиво! Он очень любит пиво и по ходу прогулки несколько раз угощает меня пивом. Мы отправляемся на La Defense – к Эткинду ужинать. Это довольно далеко. Едем на метро, потом на R.E.R. – скоростной электричке.

Ему хорошо в этом городе. И с ним хорошо в этом городе. Он местный, но его язык, слова, словечки, мысли, интересы – все русское. Он переполнен нашими политическими новостями – ставку делает только на Ельцина (это совсем не очевидно: вспомните – март 87-го!). Ругается, шутит. Рассказывает смешные байки.

Говорит:

Мы с Володией Максимовым поругались вдрызг... и не так просто, а по принципиальному поводу. Я сказал ему, что порога его «Континента» не переступлю. И всё! Оборвали все связи. И вдруг как-то – он к тому времени уже 18 лет в Париже жил – ночью телефон у меня звонит. Часа в два. «Извини, Вика, что, может, разбудил». Я сразу в крик: как ты смеешь? Конечно, разбудил! А если бы я спал?! Что за хамство?! Что за нецивилизованное поведение?! Он все терпит, и опять: «Вика, извини, у меня безвыходное положение. Я не дома. Надо такси вызвать и адрес назвать, номер дома... я забыл, как по-французски восемь?»

Смешно? Можно еще смешнее:

Еще тогда – в Москве – притащили меня в знаменитый театр на знаменитый спектакль по Достоевскому. Я жутко не хотел идти. Терпеть не могу, когда романы на сцене разыгрывают. В театре надо пьесы играть. Но в общем так или сяк сажу я в переполненном зале. Кругом восторг, вскрики, аплодисменты, а я злюсь, аж горло пересохло. Антракт. Духота. Хожу по буфету, пью пиво и все боюсь самого-то постановщика встретить, мы ж друзья-приятели, а он нервный, нежный, мнительный, что я ему скажу? Третий звонок. Иду в зал. Публика возбуждена, счастлива. Я сел, глянул на сцену и чувствую – ну не могу, не выдержу. Всё,

думаю, убегу! А если его встречу и он спросит: «Что, Вика, спектакль говно?», я скажу: да нет, живот схватило! Выбегаю из зала – и по лестнице вниз. Точно! Внизу он стоит, меня поджидает. «Что, – говорит, – Вика, живот схватило?» А я говорю: «Да нет, спектакль говно».

Уже совсем темно стало, когда добрались до Defense.

Ефим Григорьевич Эткинд совсем не изменился. Сколько пережил человек! Сколько горечи, сколько опасностей, сколько потерь, а вот весел, шуруется хитро. Лекции по всему миру читает, пишет много. И Симон здесь Маркиш. Но о нем разговор особый, отдельный. Сегодня он помалкивает, дает нам поздороваться. Нас пятеро: Эткинд, его дочь Катя, Некрасов, Маркиш и я. Ночной Париж за окном. И из всех пятерых я единственный – «оттуда», советский, московский. Во как жизнь повернулась!

Вышли за полночь. До чего-то доехали, вышли наружу из подземелья метро... расходимся. Мы с Маркишем на rue Vaugirard, а Виктор Платонович к себе... Уходит легкой походкой. Холодно, снег пошел. Руки сунул в карманы курточки. А курточка коротенькая, карманы высоко, локти оттопырились. Как два крылышка. Уходит в снег смелый, невероятно талантливый, трагичный и веселый русский писатель. Совсем не постарел... Только жизнь прошла... И не там кончается... Улетает.

Февраль, конечно, не из радостных месяцев, но в Германии было как-то особенно и постоянно серо. Мрачный вокзал Франкфурта-на-Одере. Мрачный магазин Free shop, и действительно сигареты дешевые, как предсказывал мой сосед Виталий Геннадьевич, – пфенигов на 80 за блок дешевле, почти целая марка экономии.

Берлин. Серо-черные кварталы, через которые, над которыми пробирается поезд. Долгая стоянка, долгие осмотры, проверки, сбор паспортов... раздача паспортов, лазанье под полками, под колесами. Медленное, медленное движение... названия городских вокзалов, знакомые по фильмам о разведчиках... Фридрихштрассе... и наконец *стена*.

Да, я ее видел, я проехал сквозь нее. Она была внушительная, монолитная и колючая. И почти сразу мы окунулись в море искусственного света – вокзал Zoo, Западный Берлин. Другие походки, другие женщины, другие шляпы. Не скажу – лучше, скажу – виднее! Очень много света, и вдали, над всеми домами, сверкает вращающийся гигантский знак «мерседеса». Да-а! Это «застенные» жители. Там и тут действительно несовместимо. Это действительно другой мир.

Этой стене оставалось тогда жить несколько месяцев.

Берлин – Франкфурт-на-Майне

Десять лет прошло, прежде чем я снова оказался в Берлине, теперь уже объединенном. Мы играли «Стулья» Э.Ионеско в Русском Доме на Фридрихштрассе, то есть в бывшем Восточном Берлине. Там и жили. А в гости и на прогулки ездили в Западный Берлин – поглядеть на Курфюрстендам с его современной церковью, выросшей из руин, с его ослепительными фонарями и наркотическими подростками с раскрашенными лицами.

Это был уже 1997 год. И опять февраль.

В зале – день и второй – сидели новые эмигранты из России. И в гости мы ездили к эмигрантам. Как же их много в Берлине – и писатели, и актеры (!), музыканты, композитор (дорогая моя Катя Чемберджи, замечательный композитор, автор великолепной музыки к фильму «Чернов/Чернов», – и она тоже здесь!). Телевизионщики, адвокаты, инженеры, пенсионеры и просто наши граждане. Угнетенные (здесь или там?) евреи, немцы из Сибири, забывшие и язык, и приличия, лихие мошенники, унылые неудачники, романтики, искатели счастья... Поверить трудно: несколько лет назад – только строгие граждане строгого государства ГДР и скрытная машина советского военно-промышленного комплекса. А теперь – несколько телевизионных программ на русском языке и множество газет и газеток и больших журналов... Русские в Берлине! Фантастика!

В конце спектакля, уже на поклонах, женщина подошла к самой рампе и протянула мне записку. За кулисами я прочел: «Вас хочет видеть ваш старый знакомый Курт» – и номер телефона.

Ах ты, боже мой, Курт К. – соученик по юридическому факультету Ленинградского университета. Самый старший на нашем курсе. Да, это было очень давно. Это были еще сталинские времена. Последний год жизни генералиссимуса – 1952-й. Прием на юрфак был резко сокращен. Вместо обычных 600 – 700 приняли только 100 человек. Говорили – ставка сделана не на количество, а на качество. Из нас должны были приготовить классных специалистов социалистического права. Правоведы в стране бесправия – машина ГУЛАГа работала на полную мощность, по стране шла волна звериного антисемитизма, раскручивалось «дело врачей». А мы сидели в большой аудитории в форме амфитеатра в старом здании университета на Менделеевской линии и слушали вступительную лекцию старого профессора – о традициях академии, о славе университета, о законах, которые превыше всего, о преемственности обычаев студенческого братства и профессорской солидарности. Один из аспирантов – учеников этого профессора – под его же руководством работал над диссертацией на тему «Адвокатура в 1917 году». Получил доступ к архивам. Отрыл какой-то документ, где его учитель – ныне старый профессор – упоминался в числе поддерживающих Керенского, а не большевиков. Аспирант и защитился благополучно, и сообщил куда надо о своем маленьком открытии, а старый профессор, руководитель его работы, был тут же арестован.

Итак, на курсе было всего сто человек. Но была еще одна особенность – впервые вместе со своими учились иностранцы. Три немца, два словака, чех, три китайца, монгол. Память о войне – страшном фоне всего нашего детства – была еще свежа. Странно было сидеть рядом с немцами, странно и интересно. А Курт... Курт был совсем особенный... он воевал! Да, он воевал в гитлеровской армии против нас и был на русском фронте. И он – Курт К. – был настоящий антифашист. Он – солдат вермахта – возненавидел гитлеризм и дезертировал. Он увел с собой несколько товарищей. И шел через фронты и через смертельные опасности с двух сторон. И вышел! И выжил, хотя на всю жизнь заполучил мучительную болезнь позвоночника. Мы все были мальчишками, больше или меньше (скорее меньше) соображающими, а Курт был идейным человеком – он был членом партии и верил в коммунистическую доктрину. И вот этот честный, зоркий, много повидавший и при этом молодой

человек прибыл к нам. Был допущен, был приближен к светочу коммунизма – СССР. Своими глазами он увидел теперь (не мог не увидеть!) страну тоталитарного режима, народ, живущий под страхом, жалкий быт и нищету победителей. Видел, но говорить об этом не мог... не смел... С кем говорить? С нами – семнадцатилетними сосунками, воспитанными вчерашней школой на верность партии Ленина – Сталина? Бессмысленно, опасно... да еще, попросту говоря, слов мало – он плохо знал русский язык, он только учился.

Вот наиболее близкие из моих сокурсников: русские Валентин Томин и Анатолий Шустов, немец Курт Кене, чех Богумил Барта, китаец Цзен Цинмин. Нам преподавали «Советское государство и право». Теория Государства и Права. История Государства и Права. Права не было – мы это начинали понимать. А *государство* – было. Могучее, беспредельное, всеохватывающее. Мы вступили во взрослую жизнь на переломе. На наших глазах стали ломаться, выходить из строя и заменяться новыми отдельные части этого чудовищного государственного механизма. Смерть Сталина. Новая Ходынка в Москве на его похоронах. Откат в «деле врачей». Расстрел Берии (а ведь мы-то поначалу гордо назывались «бериевским набором юристов»). Первые вести о существовании ГУЛАГа. Начало реабилитации, в которой мы отчасти принимали участие как следователи-практиканты в райпрокуратурах. Мы слушали лекции по уголовному праву, в которых нам доказывали убедительно и неопровержимо, что смертная казнь необходима для санации общества, для торжества справедливости. Для торжества поправленного преступлением морального духа общества. Но через год смертную казнь отменили, и тот же профессор столь же блестяще доказывал, опираясь на примеры из истории юриспруденции, что смертная казнь никогда не могла действительно снизить преступность, что она противна самой природе социализма. Социализм не карает, а перевоспитывает! Но еще через год смертная казнь снова была введена в УК, и тогда тот же профессор... впрочем, я не знаю, что было тогда, – я покинул юрфак и ушел в Театральный институт.

Из сегодняшнего далека, с точки зрения людей новых поколений, и время, о котором я рассказываю, должно выглядеть абсолютно беспросветным и безнадежным, университет – застенком без проблеска радости и здравого смысла. Но это не так. Для нас, тех, кого миновали тюрьмы и лагеря, жизнь была интересной. Об изнанке, о великой лжи воспитавшего нас строя мы... не то что знали, пожалуй, нет, мы... начинали догадываться. Но мы отстраняли от себя догадку. Мы думали, что теперь уж... иначе и быть не может! Да, все не очень хорошо, но это лучшее из худшего! И потому, несмотря ни на что, не мрачным был фон нашей жизни. В ней было много открытий, радости, вспышек таланта, настоящей молодой любви, молодого счастья, наполненного ожиданием еще больших свершений.

В книге «Кто держит паузу» я уже рассказывал подробно об удивительной театральной студии ЛГУ и ее руководительнице Евгении Владимировне Карповой, о блистательных (без преувеличения!) спектаклях этой студии, замеченных и отмеченных театральным Ленинградом: «Осенняя скука» Некрасова, «Ревизор» Гоголя, «Тартюф» Мольера, «Обыкновенный человек» Л.Леонова, «20 лет спустя» М.Светлова, «Предложение» Чехова.

Допустим, это сфера искусства – эмоций. Но ведь и наш юридический (а значит, в первую очередь – идеологический!) факультет странным, непостижимым образом соединял в себе и карьеристов, тупых, завистливых служаков, навсегда лишенных мыслей и вдохновения, и... обломки старой профессуры, хоть и придавленные страхом, но несущие наследие подлинной культуры слова и мысли, и... наконец, необыкновенно талантливых молодых, выросших уже в сталинское время, но совершенно лишенных узости взглядов и рабской покорности.

Расскажу об одном – самом ярком из них (а они, новые таланты, были на всех факультетах – и у филологов, и у историков, и у геологов, и у астрономов. Их искореняли, их давили... а они были!).

ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ ИОФФЕ. Вот какое сочетание! Вот какой был у нас молодой доцент в самое антисемитское время. Он был ярок и оригинален во всем. Он стоял на возвышении, локтем опираясь на кафедру. На нем была рубашка с небрежно расстегнутым воротом – это при общепринятой униформе: пиджак, застегнутый на все пуговицы, и галстук. Он позволял себе *курить*, читая лекцию. Он шутил и заигрывал с девушками.

В большой аудитории, где в углу на помосте стоял рояль (аудитория была временно актовым залом), Иоффе читал нам лекцию по авторскому праву. Он приводил примеры переложений музыкальных произведений: орган – фортепьяно, фортепьяно – скрипка... Кого следует считать автором? Иоффе, перекачивая папироску в толстых губах и щурясь от дыма, садится за рояль и играет токкату Баха. Потом, после аплодисментов, поднимается со стула и говорит: «Есть еще переложение для скрипки. Я бы вам его показал, но, к сожалению, здесь нет инструмента». Пижонство? Пожалуй, чуть-чуть. Но какой блеск, какой артистизм! И главное, он же действительно все умеет.

На экзамене по римскому праву один из наших немцев вдруг совсем забыл русский язык (скорее всего, конечно, от незнания предмета) и начал с диким акцентом экать, мекать... «Я плёхо каварю по-русски... я не знаю, как это скасят по-русски...» А Олимпиад ему: «А вы не затрудняйтесь, коллега, отвечайте по-немецки, я разберу...»

Но это всё что! Иоффе читал у нас сперва курс римского права, а позже гражданское право. Так вот, вступительная лекция. 53-й год, февраль. Олимпиад Соломонович, брезгливо глядя поверх наших голов через немытые стекла высоких окон на серый грязный снег, валивший с неба, говорит: «Мы начинаем изучать фундаментальную для юристов науку – римское право. Я мог бы сказать вам о влиянии, которое оказала на римское право работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», но я этого не скажу и перейду прямо к делу».

Февраль 53-го! Вождь еще жив, и любая речь, любая лекция обязана начинаться с поклона его трудам, как любой концерт в любом зале страны обязан начинаться «Песней о Сталине». «О Сталине мудром, родном и любимом...» – это молитва новой церкви. Это обязательное славословие обожествленного идола. Уже потом, позже это было перенято в Китае – Мао, в Северной Корее – Ким Ир Сен.

И при этом – вот такое начало нашего римского права. Таков был Олимпиад Иоффе, блестящий молодой лектор, несший в тех условиях традицию вольного духа университетской автономии.

Я бросил юриспруденцию, но никогда не забывал этого выдающегося человека. И несколько раз наши пути перекрещивались. В 79-м снимался я в Одессе в фильме «Место встречи изменить нельзя». И вот, будто название сработало, недалеко от аркадийского пляжа вижу на одинокой скамейке одинокого человека. Сидит, задрав голову к солнцу. Пригляделся – Липа! – так мы его за глаза звали. Мы оба постарели, и оба это заметили. Мой учитель, мой профессор, автор многих учебников и советская знаменитость собирался покидать родину. «Семейные обстоятельства и... скажу вам прямо... вообще... делать здесь больше нечего... Видимо, жизнь на закате...» Одесса. Семьдесят девятый год... застойный.

А еще через 15 лет в антракте моего концерта в городе Hartford, USA, мой продюсер сказал: «Вас хочет видеть ваш профессор» – и в актерскую комнату вошел... неизменный, незабываемый Олимпиад Соломонович Иоффе, наш Липа, известный ныне американский ученый-юрист. И новые книги написаны уже здесь. И жизнь, оказывается, не на закате.

Ох, Америка! Резиновая Америка! Всех готова принять! Эх, Россия! Щедрая Россия! – сколько у тебя талантов, и всех готова отдать!

Но я отвлекся. Я получил записку от Курта – это было в Берлине в феврале 97-го. От того Курта, с которым мы вместе слушали лекции Иоффе, с которым рядом пережили перелом истории, а потом на многие годы потеряли друг друга из виду.

Мы встретились теперь у него в квартире в Rotehaus – в самом центре бывшего Восточного Берлина. Курт болен – старая, еще военная травма спины опять дает себя знать. После получасовой прогулки чувствуется, что ему не по себе. Но к этому он привык. Скверное его настроение от другого. «У нас опять наступает фашизм, – говорит он. – После разрушения стены постепенно началась настоящая аннексия со стороны Запада. Мы люди второго сорта, и, как таковых, нас эксплуатируют и унижают». Он говорит, что все восточные немцы под подозрением и каждый должен постоянно доказывать свое право на жизнь. В кругах университетских откровенная разница в зарплате тех, кто получил образование на Западе, и «восточников». Совершенно абсурдная ситуация среди славистов и особенно русистов. Педагоги, получившие знание русского языка в России и владеющие им абсолютно, увольняются или снижаются в должности. На их место приходят воспитанники западных университетов, откровенно плохо знающие и язык, и Россию. Значит, опять правит идеология.

Опять проверки и грозные комиссии, добирающиеся до твоих мыслей, выискивающие неудобные им пятна в твоей биографии.

Я верю в честность Курта и в его объективность. В следующие дни другие «восточные» немцы рассказывают сходные истории. Я подавлен их рассказами. Я не знаю, как оценить это новое знание, как сопоставить с тем, что знал раньше, что казалось очевидным. Неужели стена неистребима? Ее разрушают в одном месте, она возникает в другом. Уничтожают видимую стену, возникает невидимая. Ее сносят с лица земли, а она идет через людские отношения и прямо через сердце.

Об этом еще надо подумать. Надо почитать книги умных людей, послушать, что говорят другие. Надо подождать и не спешить с выводами. Надо больше знать. Еще есть время...

До этой встречи с моим другом Куртом еще целых восемь лет. А пока за окном 1989 год. Я еду по Германии, и она разрезана на части. Границы, границы внутри одной страны. Как в дальние века, когда Германия была просто набором отдельных княжеств. Как в будущие времена, когда моя родина – Советский Союз – станет территорией множества государств и мне будут ставить в паспорт строгий штамп на российско-украинской границе.

Поезд стучит колесами. Мой сосед все чаще отлучается – готовится к какой-то сложной затее с пересадкой или перегрузкой, бегаёт к проводникам и в соседний вагон. Всего два вагона и осталось от нашего поезда. Поезд назывался «Москва – Берлин». Но Берлин позади, мы оставили там все вагоны с нашими военнослужащими, туристами, со всеми, кто «до Берлина». А мы едем дальше и дальше на запад. Теперь нас цепляют как добавку к разным составам, где каждый вагон другой формы и каждый идет в своем направлении – на Париж, на Милан, на Остенде. Поезд стучит своей морзянкой по Западной Германии.

Здесь густо населено. Много больших и маленьких станций. Мы экспресс, мы мчимся мимо – платформ, строений, вокзалов, мы ныряем под мосты и эстакады. В обе стороны ответвляются новые пути. Чувствуется приближение громадного железнодорожного узла. И вот началось торможение. Спокойнее, спокойнее... за окном уже городской пейзаж, и масса движения: электрички, встречные и попутные поезда, отдельные товарные вагоны – катятся с горки на сцепку... Еще медленнее... Мы въезжаем под невероятно высокий стеклянный купол. Нарядные, умытые составы почетным караулом стоят по обе стороны нашего движения. Как игрушки – чисто вымытые стекла, сверкающий металл. Откуда вы такие? Где же пыль и копоть дальних дорог? Где пожухлость краски? Где усталость металла и ранняя ржавчина? Ничего этого нет! Игрушки! Игрушки в размер натуры. Еще медленнее... Совсем медленно... Стоп! Солнце бьет сквозь стеклянный купол. Совсем не похоже на зиму, на февраль. Где это мы? А? Запад!

Франкфурт-на-Майне. Стоянка

Если случится, я потом расскажу про этот город. Про замечательных «западных» немцев. Про семью капиталиста (и инженера), и благотворителя (и интеллигента), и меломана (и человека с юмором) – Петера Хофманна. Про то, что герр Хофманн – глава серьезной фирмы, производящей и торгующей различными, от микро до гигантских, режущими инструментами, – одновременно постоянный и влюбленный участник местного любительского хора, разъезжающего по разным городам и странам на всегда успешные и всегда бесплатные гастроли. Про его темпераментную жену Вальтраут. Про их детей и внуков, про сложные внутрисемейные отношения – сложные по причине моральных и религиозных расхождений. Про их гостеприимный дом – постоянно гостеприимный, дающий кров и поддержку молодым малообеспеченным музыкантам, студентам. Про их истинно христианскую ориентацию на безоговорочную помощь и сочувствие всем нуждающимся – в том числе «восточным», в том числе эмигрантам, в том числе иноверцам. Я хорошо помню и потому, надеюсь, смогу подробно описать их дом возле большой башни красивого пивного завода «Хейнингер» (не Хейнекен, Хейнекен – это другое).

Я расскажу про несомненный и многосторонний талант нашей эмигрантки Ольги Конской, умудрившейся открыть здесь русский театрик. Про Франкфуртский симфонический оркестр под управлением бывшего знаменитого нашего, а теперь знаменитого «ихнего» Дмитрия Китаенко, с которым довелось мне выступать в «Иване Грозном» Прокофьева в местной Alte Oper.

Есть что рассказать, и расскажу... но потом... и «может быть»...

А пока я стою на платформе, подавленный громадностью вокзала. Я прогуливаюсь по неведомой земле, живущей по непривычным правилам. Мне все интересно: носильщик с тележкой, тележка без носильщика, газетный киоск, автомат с прохладительными напитками. Наш проводник в полной форме и на этот раз застегнутый на все пуговицы стоит возле вагона и поглядывает на меня снисходительно и, пожалуй, чуть-чуть настороженно... чемодан мой, конечно, остался в купе, но все-таки... ну мало ли?... ну черт нас всех разберет!

Вот обменный пункт. Интересно! Очень интересно: это прямо так открыто меняют одни деньги на другие? И никакой очереди?! А я перед поездкой на Садовом кольце, на углу улиц Чкалова и Гайдара, три дня занимал очередь. Ну правда, и радость в результате большая. Я заплатил много – 400 рублей (моя зарплата народного артиста – 350 в месяц) и получил за 400 рублей около 600 долларов. Вот он какой, рубль-то! Правда, это только с разрешения ОВИРа (месяц ожидания) и только с загранпаспортом (с помощью ВТО – иначе очень сложно) и с долгой очередью, и пробить такую поездку можно только один раз в два года – не чаще. Но ведь в результате – \$ 600 за 400 руб.

Ну-с, а тут у них что? Поглядим... Та-ак, 0,65 доллара за немецкую марку. Ну примерно то же, что доллар к рублю, только в обратную сторону. Ой, запутался. Короче, приблизительно за 2 рубля 3 доллара, точка. За 2 доллара 3 западногерманские марки, запятая, следовательно, за 2 рубля (примерно) 7 – 8 марок, точка.

Ага, вот еще японская иена, швейцарский франк, фунт стерлингов. Это всё в общей таблице. Цифры ясные, четкие. А это что за бумажка криво пришпилена внизу? И на ней от руки написано фломастером... что, что?

10 RUB rus

Э, да это про нашу десятку... Это что же, черный рынок, что ли? Наши деньги вывозить запрещено! Или в связи с перестройкой все начало меняться? Это прогресс! Но почему червонец, почему не рубль, а 10 RUB? Та-ак, что тут написано?

10 RUB rus = 0,18 DM

Не может быть! Этого просто не может быть! Наш рубль дороже доллара. Я знаю! А тут 0,18 DM. Да вы что? Если 10 RUB = 0,18, то один RUB вообще 0,018. Значит, за одну марку надо отдать 55 рублей? А за доллар – почти 70? А моя зарплата народного артиста 350 рублей в месяц. Значит, моя зарплата – около 5 долларов в месяц!

Что такое? Грабеж, обман, спекуляция! Только я никак не могу определить, кто грабит и кто обманывает.

Конечно (наука твердит), все относительно. Но ведь не настолько! Кто же я такой, этот артист из загадочной страны, где мне позавчера на углу улиц Чкалова и Гайдара дали \$ 600 за RUB rus 400; а сегодня оказалось, что во Франкфурте я эти четыреста рублей запросто мог обменять в вонючем обменном пункте без всякой очереди на 8 марок или на 6 долларов?!

Где я? Кто я? Откуда я взялся и куда мне сунуться?

Для моих зрителей я народный артист. Для России я государственный служащий. А для мира? Для мира я нищий! Как же мне входить в этот мир, где все другое, даже цифры?.. Кто кого обманывает?!

Не было ни звонков, ни гудков, было какое-то объявление по вокзальному радио, но я ж не понял, что там было сказано. Слово «Москва» давно исчезло из названия нашего поезда. Что «Москва» – далеко Москва! Мы теперь вообще непонятно как назывались... то ли «Берлин – Рим», то ли «Франкфурт – Барселона», то ли просто номером... да еще в немецком произношении даже названия города не разберешь! Повторяю: не было ни звонков, ни гудков, было какое-то неуловимое беззвучное шевеление на пустой платформе. Да, я вдруг обнаружил, что она совершенно пуста. Я один – и поезд, который не дернулся, а поплыл, покачиваясь, как лодка. Радио опять хрипло заговорило. Нет, это не радио, потому что даже слова разобрать можно. Наш проводник, стоя на подножке с выпученными глазами обреченного человека, кричал: «Товарищ Юрский! Товарищ Юрский!» И при этом удалялся от меня с нарастающей скоростью.

Я кинулся вслед.

Дорога на Базель

Ей-богу, я человек некоммерческий. Я редко считаю деньги и думаю о деньгах. Но вот уже поезд стучит колесами на юг – на Швейцарию, а у меня все стоит перед глазами это жуткое математическое уравнение, определяющее мое место в этом мире:

$$10 \text{ RUB rus} = 0,18 \text{ DM}$$

Или я всех обманул, ухватив за мою зарплату целых 600 долларов? Или мой труд ничего не стоит? Или мир сошел с ума?

Скорость поезда сильно возросла. А шума меньше. Другие рельсы, другие стыки (или их нет, этих стыков?). Все другое. Впереди последний пограничный пункт – Базель.

Ах, Мишка, Мишка! Мишка Данилов! Это он придумал среди сотен своих шуточек дурацкую надпись на пивном ларьке:

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО
УШЛА НА БАЗЕЛЬ

Мой замечательный друг, истинный артист на сцене и на экране... и в жизни художник, человек от Бога. Мишка Данилов! Теперь тебя нет. Ты умер от мучительной болезни там, далеко, в Бостоне. Там сожгли твоё тело в хорошо и чисто организованном крематории, а потом прах твой похоронили в Ленинграде, который уже перестал быть Ленинградом, но принял ново-старое и странно звучащее название Санкт-Петербург. Хоронили твой прах осенним днем под мелким дождем при большом скоплении актеров. Прощай, Миша. Так будет через несколько лет.

А пока ты жив, и мы просто давно не видались. Ты в Ленинграде, я в Москве. Но я уверен: ты будешь играть в моем фильме о человеке, едущем в поезде через всю Европу, но душой и телом остающемся при этом там, в России. Ты всегда участвовал во всех моих затеях, для тебя в них всегда была роль. Но кроме этого, в общении с тобой я всегда черпал силы, когда уходила уверенность, к тебе я обращался, когда не знал, где искать правду.

Мишка, я думаю о тебе, выбираю тебе роль в этом сценарии... или сам ее выбери. Я думаю о тебе под мягкий перестук колес по немецким рельсам, приближаясь к Базелю. Я вспоминаю твою дурацкую и такую понятную мне игру словами и буквами – как ты город Наро-Фоминск называл Нейро-Фоминск и эту надпись на пивном ларьке:

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО
УШЛА НА БАЗЕЛЬ

Вот и я «иду на Базель». Через два часа швейцарская граница. Еще не финиш. Но близко. Скажем так – недалеко. Я думаю о друзьях. О тех, что сейчас в снежном российском феврале, и о том, кто ждет меня там – в конце моего пути.

Симон приедет из Женевы встречать меня в Берн. Дальше мы поедем вместе. Я не представляю их расстояний. Совсем не представляю. Женева – Берн... это как Москва – Ленинград или как Москва – Подольск? Сказал, приедет на машине... а может, на поезде... Симон Маркиш – мой самый старый, самый серьезный, самый важный для меня друг. Два года назад в Париже мы просто повидались – всего неделя среди многих других дел и обязанностей. И среди других встреч. Здесь у нас будет целых три недели – все вспомнить, обо всем поговорить. Попробовать понять, как большая часть жизни прошла.

СИМОН МАРКИШ. Сын выдающегося советского еврейского поэта Переца Маркиша, убитого советской властью вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета. Вдова поэта Эстер и два сына: старший, Симон, и младший, Давид, были высланы на далекое поселение. Возвратились в 1954 году, после смерти «отца всех народов». Симон снова поступил в МГУ на классическое отделение филфака, где он раньше учился. Летом 1954 года вдруг получил путевку в Дом творчества ВТО (Всероссийское театральное общество) под Ленинград – в поселок Комарово. Там мы и познакомились.

Мы жили на веранде старого деревянного дома – пять человек отдыхающих – кровати одна возле другой. Мои родители тоже отдыхали здесь. У них была отдельная комната.

Юрий Сергеевич, мой отец, никогда не приказывал мне – он советовал, заинтересовывал. Вот и на этот раз – на 5-й или 6-й день смены (тогда ведь и в Дома творчества приезжали все разом и разом уезжали – это называлось «смена»), – так вот, в какой-то из начальных дней смены отец сказал: «Ты совсем заигрался в свои волейболы и пинг-понги. Рядом с тобой очень интересный человек. Ты обрати внимание». Так мы познакомились.

Отец мой умер через три года в этом самом Комарове, опять во время смены. Молодым еще умер. Он оставил по себе светлую память в сотнях (не преувеличиваю!) друзей, коллег и подчиненных (последние годы он был художественным руководителем Ленконцерта). А мне он оставил свою шкалу жизненных ценностей. Ценностей не оставил – их у него никогда не было, – а шкалу оставил. Свет от тьмы он меня научил отличать. И еще – вот этим коротким разговором – оставил он мне самого главного друга моей жизни.

Мы жили в тоталитарном государстве. Были годы свирепого давления – клещи власти, бывали и плоскогубцы, – давит, но не режет. Бывали и оттепели с прояснением и синим небом над головой. Но мы жили в тоталитарном государстве – всегда! Сейчас нередко ностальгически вздыхают и удивляются: куда девалось прежнее единение с друзьями, соседями, коллегами. Теперь, дескать, все врозь, каждый за себя, а тогда...

Да, тогда было иначе. Коммунальная квартира, почти тюремная кучность жизни одних ожесточала, других сплавивала. Из первых выросли оскаленные волки, из вторых – вздыхатели по прошлому. Дружба была настоящая, и взаимопомощь была. Но всё это от бедности, беды, тесноты – деваться некуда, – начинаем дружить. Выбора не было – всё как бог дал. Вернее, не бог – Бога не было. Случай! Чьи нары рядом – с тем и дружить. Либо ненависть, либо дружба. Либо дружба во имя ненависти к другой группе. Спокойное нормальное соседство невозможно. Это советский вариант общины, землячества, коллегиальности.

Исключения бывали. И наша дружба с Симоном – жителем другого и довольно далекого города – с самого начала имела оттенок какой-то исключительности. Это был собственный выбор, а не подчинение обстоятельствам. Он в Москве, я в Ленинграде. И у каждого много обязанностей – учеба, работа. И денег у каждого очень негусто – особенно не разъездишься. Но шли годы, а нить не обрывалась. У меня начались съемки в Москве, гастроли. Симона иногда заводили в Питер издательские дела. Я всячески старался при поездках в Москву выкроить денек лишний, и лучше, чтобы этот день был первым, а то потом дела закрутят...

Прямо с вокзала на метро или на такси (если схватишь!) – на Плющиху. Поворот возле странного, вечно облупленного, мельниковской архитектуры клуба «Каучук» – и тут же близко 2-й Тружеников переулок. Дома пятиэтажные барачного типа, одинаковые, 30-х годов стройки, наверное. Теперь они кажутся очень уродливыми. Тогда не замечалось. Ветерок шелестел в деревьях, девушки сплошь казались красивыми и заставляли оборачиваться, в голове громоздились планы, и вокруг было очень много нового.

«Гастроном» напротив Симкиного дома открывался в девять. Приедешь чуть пораньше – значит прогуливаешься туда-сюда в ожидании открытия. Вон Симкино окно. Иногда он подойдет к окну и замахаёт руками: «Ничего не надо! Завтрак готов! Бабушка ждет!» Нет, надо! Есть традиция, и есть своя гордость. Водки взять «маленькую» и что-нибудь по сезону – овощей, фруктов... или конфет в сером кульке. Время – конец 50-х. В Москве у магазинов очередей еще нет, продуктов не много, но чем-то торгуют. А нам что надо-то? И водка еще не нормирована ни по времени торговли, ни по количеству. Гордая красавица Вера Марковна – бабушка – завтрак приготовила аппетитнейший. Эти рыбные котлетки, эта селедочка под лучком! А Симкин кофе из зеленого щербатого кофейника! Ну и принесенная «маленькая». И целый свободный день впереди – оба подгадали.

Прелюдия окончена. А теперь главное – говорить! Общих дел у нас нет, а значит, нет и общих врагов. Мы не запутаны в интриги. У нас еще нет (и не скоро будут) автомобилей. Это всё для нас не темы. Женщины?!

Ну конечно! Отчасти. Тема важная, но живем-то в разных городах, тоже, стало быть, всё разное. Кино, книги, журналы – это общее. Разумеется, пробежались и по этой теме. Ничего себе «пробежались» – в разговорах отмахали пешком километров десять, уже и пообедали, и еще вина взяли, и одолели бутылку-другую. И день начинает клониться к вечеру. И всё говорим.

Дружба в тоталитарном обществе – это исповедь, это проверка курса, это спасение от безумия, погружение вглубь. Фасад жизни отлакирован, все тени стерты, темные пятна вытравлены. А потому вокруг тебя сияющая ложь. Протестовать, опровергать – не принято, опасно и бесперспективно. Ты раздвоен. Накапывают невысказанные протесты, нестандартные оценки, которые нельзя произносить вслух. У тебя есть страхи и печали. Ты скоро лопнешь от их давления. Они распирают изнутри. И вот этот долгожданный день дружбы – ты приближаешься к самому себе. Ты говоришь без всяких оглядок. Ты слышишь *неожиданные* возражения. Наконец-то ты слышишь *новые* мысли и слова. Ведь ежедневно по радио, в газетах, в официальном общении и по большей части даже в театре ты заранее знаешь *все слова*, которые тебе скажут. И заранее знаешь все слова, которые ты *должен* произнести. А в этот день ты радостно замечаешь, что и сам-то наконец говоришь новое, идущее изнутри. Открывается клапан, и ты оказываешься совсем не таким плоским, как казалось. Это счастливое ощущение. Хорошие дни!

Мы не были диссидентами – ни он, ни я. И не стали ими позже. К лучшему это или к худшему – не знаю, но было так. Конечно, наши отношения были «подпольем» – не в смысле заговора и склоненных над столом мрачных фигур при закрытых окнах, а в смысле чего-то сугубо личного, не предназначенного для чужих глаз и ушей. А уж от наших характеров зависело, что это было не угрюмое мудрствование избранных, а шутовское по форме и всегда наполненное юмором, я бы сказал – трепливое общение. И всегда Симон был учителем, а я учеником. И по возрасту, и... и по всем другим качествам.

Больше всего Симон переводил с латыни. Но переводил и с древнегреческого, и с английского, и с итальянского. От него я получил пачку листов со странным, обжигающим новизной текстом – это был напечатанный на машинке роман «Мастер и Маргарита» – первые страниц пятьдесят. Задолго до публикации. В разговорах с Симоном я вслушался в стихи Пастернака и полюбил его. В квартире в Тружениковом переулке я познакомился с Юрием Домбровским и буквально утонул в его романе «Хранитель древностей». Одно зимнее утро в доме Симона я провел с о.Александром Менем. И он – отец Александр – впервые ввел меня в церковь во время службы как гостя. На моих глазах Симон из переводчика стал превращаться в автора. После переводов из Эразма Роттердамского последовала книга о нем. За веселым застольем с вином и водочкой задружился я здесь с молодыми, фантастически талантливыми переводчиками чуть ли не со всех языков – Витей Хинкисом и Володей Смир-

новым. (Ну вот, к примеру, Смирнов перевел и издал переводы с английского, немецкого, французского, датского, шведского, финского, японского и китайского – не с подстрочников, а с оригиналов!) Симон натолкнул меня на Томаса Манна, и я прочел эти слишком толстые книги. Было очень важно прочитать их, хотя, признаюсь, в то время это было скорее тренировкой воли, чем удовольствием.

Мы попробовали даже работать рядом. В 67-м году мы взяли путевки в Щельково – Дом творчества ВТО, имение А.Н.Островского. Все 24 дня была веселая молодая жизнь в большой компании. Но была и работа. Симон писал пересказ эпизодов римской истории из Тита Ливия. А я делал первую в своей жизни инсценировку для театра. Это была «Фиеста» Хемингуэя.

В Хэма, в бородастого Эрнеста, было влюблено все наше и все соседние поколения. Так получилось, что именно он открывал нам тайны «взрослой жизни». Да, да – о мужских и женских тайнах мы узнавали из Хемингуэя, как об Иисусе Христе – из Булгакова. Это Булгаков оказался для нас пятым евангелистом со своим «Мастером и Маргаритой». Вот такие были мы – городские, лишенные корней, литературные, безбожные мальчишки и девочки. Я так зачитывался «Фиестой», что, кажется, знал роман наизусть. Когда приехали в Щельково и распаковали чемоданы, оказалось, что стопку чистой бумаги я взял, десяток авторучек тоже, а вот саму книгу с «Фиестой» забыл. В библиотеке Дома творчества ее тоже не оказалось. И я стал писать по памяти. Написал в Щелькове весь первый акт – почти полпьесы. Когда вернулся, проверил по тексту – было почти точно.

Я замирал в счастливом предвкушении будущего спектакля. Мне мерещилось: откроется занавес, и на сцене будет Париж с его кафе, с подстриженными деревьями его бульваров, с малюсенькими комнатами его дешевых гостиниц, с парапетами набережных. Абсолютно нейтральный, лишенный интонаций голос скажет в микрофон: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит...» – и дальше всю цитату эпитафии из Екклесиаста. А потом короткая пауза... и также нейтрально: «“Все вы потерянное поколение”. Гертруда Стайн в разговоре».

И тут вступит музыка. Тихая и ритмичная. Рояль, контрабас, ударные. И тогда на сцену со всех сторон пойдут персонажи пьесы.

Это мы – потерянное поколение, это про нас. С нами талант и опыт Хемингуэя, с нами наше горячее желание воплотить нашу боль и нашу надежду. Ей-богу, мы кое-что уже умеем.

Так думалось тогда, и казалось: мы еще сможем изменить мир. Нет, нет, мы не будем «рушить до основания» «весь мир насилия». Мы вообще не будем бороться с миром. (Повторю – мы не были диссидентами.) Мы изменим мир тем, что *переубедем* его, заинтересуем нашим взглядом на вещи.

Но случилось иначе. И порыв наш, и пафос оказались наивными и немного смешными. В 70-м Симон эмигрировал. Сперва в Венгрию после женитьбы на венгерке, потом дальше – в Швейцарию. В его венгерский период мы еще повидались пару раз. Мы с Теняковой побывали у него в Будапеште, а он приехал по приглашению к нам в Ленинград.

Многое изменилось к тому времени. Спектакль «Фиеста» был сделан, показан и... запрещен. Я сделал тогда телефильм «Фиеста». Его ждали, о нем говорили. Он был показан один раз в ночное время и без объявления в программе. После этого запрещен. Я потерял мать – Евгения Михайловна Романова-Юрская, дорогая моя мама, умерла через 14 лет после отца, но в тот же день – 8 июля.

В 1973 году зимой я выпускал на сцене БДТ свою первую постановку, булгаковского «Мольера», и сам играл главную роль. Наталья была беременна Дашей, но еще работала и играла в «Мольере» Арманду. Время было нервное и суматошное. Тут из Венгрии и приехал Симон.

Что-то переменялось. Забот много, или уже наступала новая угрюмая эпоха, но радость в общении как-то не высекалась. А потом его бегство в Швейцарию и... захлопнулась дверца. Стенка глухая.

Маркиш преподавал на отделении славистики в Женевском университете. Приезжали в Москву на практику его ученики – молодые швейцарцы. Рассказывали о нем. Было очевидно, что его любят, что там оценили его, поняли, что он особенный. Но не было живого общения, а без него... Мы, видимо, плыли теперь разными курсами. Мы стали немного расходиться теперь в оценке людей, событий. «Надо встретиться!» – этим кончалось каждое письмо и каждый телефонный разговор. Но как? Я невыездной, он невыездной.

Потом зашатался монолит власти в нашей стране. Пошли перемены. И вот в 87-м вдруг возник и осуществился этот парижский концерт в Odeon. Мы встретились, о чем я уже рассказал. Я привез тогда Симону рукопись моей повести «Чернов». Вот про это самое (как мне казалось) – про друзей, разделенных границей. Честно говоря, в глубине души я рассчитывал на «ах!». Ну если не на восхищение, то на полное понимание. Симон ведь не только литератор и переводчик, он еще классный профессиональный редактор. Столько людей дорожат его мнением, в том числе даже Иосиф Бродский. И вот я чего-то ждал. Слишком долго лежала в ящике эта повесть. Кому же оценить, как не Симке – знатоку и другу. Но может быть, именно потому что знаток, Симон... не раскритиковал, не обругал, а как-то... пропустил мимо. Указал на отдельные фактические неточности в описании западной жизни (Господи, да откуда ж мне ее знать?), а про все в целом сказал только: «Да... грустно, очень грустно».

Его малословие было приговором для моих писательских начинаний. Признаюсь, преодолеть этот приговор было нелегко. Не он же виноват, что его «не пробила» моя повесть, – это повесть виновата.

Но вот прошло два года, и я еду через Европу, примеряя к себе психологическое состояние героя моего будущего фильма. И еду я по приглашению Маркиша. И фильм этот по повести «Чернов». Повесть уже дважды издана – в альманахе и отдельной книжкой. Тираж раскуплен, но откликов – никаких. Я не знаю, что и думать, однако все думаю и думаю: что будет и кому будет нужен мой фильм?

А поезд уже замедляет ход. Базель. Город на стыке трех стран: Германии, Франции, Швейцарии. И каждая страна даже называет его по-своему. Здесь много шпионов, которые передают друг другу микрофильмы, справляя нужду в вокзальном туалете, – я сам читал про это и видел в кино. Город Базель, должно быть, очень строг и наводнен полицейскими в форме и штатском. Я очень удивлен, что в реальности все оказалось совершенно иным, даже противоположным. Не было вообще никакой проверки документов и осмотра вагонов. Не было никаких людей в форме. Ну разве что швейцар возле ресторанной двери (швейцар, а не швейцарец! Хотя, может быть, он был и швейцарцем). Я побродил по вокзалу, полному мирной суеты и доброжелательности ко всем живым существам – гражданам города, и приезжим, и проезжим, говорящим на одном из трех европейских языков и не говорящим ни на одном из них, к собакам при хозяевах и собакам без хозяев (одну такую видел, но это, видать, недоразумение).

Я спокойно расслышал объявление, что мы отправляемся через пять минут. И почему-то все разобрал в иностранном языке. Я загодя подошел к своему вагону и увидел, что проводник на этот раз совершенно спокоен и даже улыбается. Климат, что ли, влияет? Я вспомнил, что попутчика моего я давно лишился: он перешел в брюссельский вагон и едет теперь в другую сторону. Я порадовался, что наш вагон теперь почти пуст: две молодые женщины с маленькими детьми, видимо семьи дипломатов, и немец с портфелем и в очках, неизвестно когда и как затесавшийся в наш вагон, – стоит все время в коридоре, сопит и смотрит в окно.

Поехали!.. Вот платформа кончилась, мелькнули городские кварталы... Это Германия или Швейцария? Или это Франция мелькнула? Как же это все близко. Поехали... Как славно, что мы с Симоном затеяли это путешествие. Как славно, что через несколько часов я увижу его. Как великолепно находиться в этом чудесном поезде, к которому я так привык и с которым жаль будет расставаться.

Базель – Берн

Часто-часто пошли туннели. Вряд ли можно так выразиться, но, однако, Альпы уже не за горами! Мы мчим по федерации самых древних (по Рождестве Христовом) демократий.

Швейцария. К этой стране у нас какое-то особое отношение. В нашем сознании именно Швейцария прямая противоположность нам. Не Австралия, где ходят головой вниз, а Швейцария. «Le cote de l'anvers», как говорят французы – изнанка. Вернее (нам так кажется) – это мы изнанка, а они – один сплошной фасад. Ну вот, что ни назови, всё у них наоборот!

Они маленькие, мы большие – это в смысле пространства, расстояний.

У них (в принципе) – чисто. У нас как-то в принципе грязно.

У них гористо. У нас – просторно и плоско.

Они богатые. Мы – бедные.

Нас как-то все время лихорадит, у них порядок и давно все устоялось.

У нас все время жутко весело. У них в общем-то мирно и скучно.

У нас много-много национальностей и есть (по крайней мере подразумевается) 5-я графа в паспорте, но один государственный язык и неразрешимая проблема – как сочетать его с родным языком в автономиях. У них все швейцарцы, но ТРИ или даже ЧЕТЫРЕ государственных языка.

Вспоминается замечательная интонация Романа Карцева в одном из скетчей Миши Жванецкого: быстро-быстро повторять «Как это? Как это? Как это?». Ну действительно: «Как это? Как это? Как это?»

А вот так! Так случилось!

Швейцария для нас – это как «тот свет», как загробная жизнь, как утренний сон под праздник, который, по пословице, никогда не сбывается.

Я еду по Швейцарии. Что я знаю об этой стране? Вильгельм Телль... ой, не надо, дежурное блюдо. Это всегда, только произнесут слово «Швейцария» – и сразу перед глазами Вильгельм Телль с его сыном, и яблоком, и океанской бурей на маленьком озере, и невероятной и гордой смелостью... Все это так, все прекрасно, но уж слишком... общеизвестно, что ли? А знаете, почему возникают всегда одни и те же ассоциации? Да потому что мало, почти ничего не знаем об этой стране!

Швейцария. Страна гор и банков. Долин и богатства. Труда и чистого воздуха. Отдыха и тайных вкладов. Свободы и строгого порядка.

Страна, умудрившаяся сохранить нейтралитет даже во время чудовищных мировых войн. Это как же так? Почти раздавленная между двумя фашистскими государствами (от столицы до Германии километров триста, не больше, – мы сейчас как раз и отмериваем этот путь). Рядом с аннексированной Австрией, вплотную с оккупированной и наполовину фашизированной Францией – и нейтралитет? Грандиозно! При столь малых размерах? При том, что половина населения говорит на немецком? При целом кантоне, говорящем на итальянском и примыкающем к Италии? Потрясающе!.. Или тут какое-то лукавство? Некая условность... маска, надетая на подлинное лицо?

Позже, через годы, возникли какие-то глухие, но грандиозные обвинения. Это тут, в швейцарских банках, оприходовали несусветные советские партийные миллионы и тонны золота. И что ни обвинение в космических кражах новых российских властителей, то упоминание о швейцарских банках. А вот и «еврейское золото», награбленное фашистскими убийцами, сорванное с рук, вырванное из ртов, спрессованное в благородные слитки, обращенное в мировую валюту, – и его приголубили просторные подвалы могучих банков «абсолютно нейтральной» страны?

Обычным гражданам приальпийской конфедерации недосуг раздумывать, а тем более болтать на столь щекотливые темы. Они заняты своими делами, и у них свои трудности. Но не все таковы! Есть, к примеру, Дюрренматт... и есть Макс Фриш... выдающиеся, имеющие мировой авторитет писатели. Их ирония, переходящая в скепсис, порой взрывающаяся криком отчаянья, – вот какие голоса доносятся порой из кристальной, благополучной Швейцарии.

И мой приятель журналист Б., и мой друг адвокат Ш. – оба коренные швейцарцы – кривят рты и опускают глаза, когда я пускаюсь в восторженные комплименты идеальному устройству жизни на этой земле возле обширного Женевского озера – Леман и бездонных озер в краю «четырех кантонов», гражданином одного из которых стал человек-дьявол Николай Ставрогин – то ли порожденный фантазией Достоевского, то ли выхваченный им из жизни.

Интересно, что не только ужасный Ставрогин, но и ангельский князь Лев Николаевич Мышкин являются в Россию по воле Достоевского именно из Швейцарии.

«Я приближался к месту моего назначения». Это, конечно, цитата из классики, но я действительно приближался к месту моего назначения. Опыт научил, что бесплодно и опасно упереть даже небольшой кусок своей жизни в одну точку. Сказать себе: вот дойду туда – и тогда всё, вот доплыву до того камня... вот сыграю эту премьеру... вот кончу фильм... вот добьюсь этой женщины... и тогда..! ..?

Вот добегу первым до ленточки! Жажда рекорда! Побить прежнее достижение – чужое! Чтобы все видели. А в виде тренировки ежедневно ставить маленькие личные рекорды. Сегодня чуть больше, чем вчера, – ощутимый прогресс. А если сил не хватает, можно бесконечно варьировать виды соревнований и выдумывать новые. Теперь-то я знаю, что самая великая тщета-суета – это Книга рекордов Гиннесса. Сделать так, чтобы весь мир... и сразу...

У Камю в «Чуме» есть персонаж, который все собирается написать книгу, но никак не начнет. Не может начать, потому что все ищет фразу, от которой *все*, абсолютно *все* разведут руками... и... *chapeaux a bas!* – *шапки долой!* Вот это и есть формула дилетантизма. Мастерами так не становятся.

Вспоминаю мимолетный, но не канувший в забвение разговор с Георгием Александровичем Товстоноговым. (За двадцать лет совместной и очень тесной работы не так уж много было у нас доверительных разговоров один на один. Тем важнее *все* их вспомнить, что я и сделаю в дальнейшем ходе этих записок.) На гастролях, если не ошибаюсь, в Кишиневе, поздним вечером вышли покурить под деревья возле гостиницы. Говорили про конец сезона, про начало будущего. Г.А. вдруг спросил «Скажите, а вот вы про себя – торопите время? Есть такая мысль – скорее бы! Хорошо, если бы не было этих двух месяцев, а уже премьеры?» – «Конечно!» – сказал я. – Жутко интересно, что у нас получится и как это поймут и примут». – «Мне тоже». Потом несколько раз затянулся сигаретой и продолжил: «Но теперь я стал ценить ожидание. Знаете, теперь я думаю, что не надо гнать дни к собственной цели».

Хочется думать, что Георгий Александрович развил в себе это умение, хотя по натуре – совершенно очевидно – он был рекордсменом, человеком, стремящимся к финишу. А что касается меня... следуя своему характеру, я проповедовал и внушал себе одно, а делал порой прямо противоположное.

Пример же настоящей последовательности в этом решительном *нетороплиости дней* — этот пример передо мной. Наталья Т. – абсолютно творческая натура, огромный неувядаемый талант, решительно лишенный рекордсменства. Она никогда даже не приподняла ногу, чтобы взойти на следующую ступеньку успеха. Ни разу ни на йоту не прибавила скорости, чтобы кого-то обойти... Но оставим... то, что о жене, – дела семейные.

Не беги так быстро, мой дом на колесах! Туннель, еще один... и еще... Не крутитесь так быстро, колеса, по этим гладким рельсам. Я стремлюсь, правда, я стремлюсь к моей цели, к встрече... но я не хочу торопить время. Не спеши так, мой вагон, мне нравится быть в тебе.

Вечереет. В Берне поезд будет стоять всего четверть часа и потом помчит дальше – через Домодоссолу в Милан, потом (если я не путаю) Триест – Загреб – Белград – Афины – паром и – Истанбул... Тогда это уже «Восточный экспресс», о котором столько сочинено романов, от Агаты Кристи до Грэма Грина. Как я увлекался этими романами, но на сегодня это не по моей части. На сегодня мой экспресс западный. В Берне наш вагон отцепят – он так запылится в дальней дороге, затуманилась на его борту табличка «Москва – Берн». Ему надо отдохнуть. Наши кряжистые проводники с цепкими глазами отдадут последний салют мне – последнему пассажиру – и станут готовиться в обратный путь.

А я?... Я двинусь дальше на Запад. Если меня встретят... Если... Я уперся лбом в стекло и вглядываюсь в наступающие сумерки. Где же... ?

Где же... ? Кто это так непротокольно машет руками на платформе?

Берн – Женева

А это Маркиш так непротокольно машет руками на платформе. А рядом с ним стоит и улыбается незнакомая мне женщина. Вот, если можно быть совсем заграничной, каждой клеточкой заграничной, то это она – Хайди Тальявини. Ну все заграничное: одежда, жесты, улыбка, фигура, прическа, запах. Только речь ясно – русская, хотя и с акцентом. Она бывшая студентка Симона, а теперь... О! Теперь она дипломат. Приятное знакомство. В ее доме мы проведем этот вечер и ночь, а утром тронемся в Женеву.

С этого дня и по сегодня Хайди – мой друг. Тогда я не знал еще поразительных талантов этой приветливой женщины. Мог ли я предположить, что мы будем встречаться в Москве, где в должности советника в посольстве Швейцарии она станет заметной фигурой в культурной жизни нашей столицы в самое бурное и переломное время. А потом мы увидимся в Гааге, где она будет уже послом. Она снова вернется в Москву в качестве полномочного министра-посланника. И она покинет Москву ради Чечни – почти год жизни среди смертельных опасностей в составе представительства ООН во время войны. В 98-м она опять в одной из самых опасных, по-настоящему «горячих» точек мира – госпожа Тальявини возглавила миссию ОБСЕ в Сухуми на грузино-абхазской границе.

Хочется вспомнить нашу последнюю встречу, но... наша последняя встреча не состоялась. У меня был концерт в Тбилиси. Хайди собиралась приехать на него – повидаться. Меня поселили в Тбилиси в гостинице «Аджария». Два верхних этажа шестнадцатизэтажного здания оставались еще гостиницей. Все остальное пространство занимали беженцы. Густой многосемейный быт бедных отчаявшихся людей в коридорах и комнатах, не приспособленных для быта. Часто отключали электричество – и тогда замирали лифты в высотном доме и прокисали продукты в холодильниках, которые переставали холодить. Телефоны работали плохо, а периодически отключались вовсе.

В городе появилось много нищих стариков – этого никогда не было раньше в Тбилиси. В магазинах, на рынке очень мало покупателей: у людей нет денег. Дороговизна. В театрах – и в зале, и за кулисами – припахивает нечистотами. Все коммуникации требуют ремонта, а средств нет. Трогает душу и восхищает, что тбилисцы не жалуются, а стыдятся своей беды и даже в этих условиях сохраняют свое несравненное гостеприимство и победную улыбку на измученном лице.

Я дозвонился в миссию. Сказал, что привез журналы, книги и письма от друзей для госпожи Тальявини. Приехал молчаливый шофер и забрал пакет. Телефон окончательно замолк. Связи больше не было. Выступление мое было в самом центре города на проспекте Руставели в Театре Грибоедова. Зал полон (и это не исключение: я был здесь недавно на фестивале, на всех сценах ежедневно шли десятки спектаклей и концертов – и всегда, везде залы были полны – таково отношение к театру и к гостям в этом удивительном городе). И я с волнением и благодарностью вижу, что практически все, кого я знал, с кем дружил, с кем вместе выходил на сцену, – все пришли на этот концерт. Хайди не было.

В антракте принесли большой букет и записку в конверте.

Ночью на границе снова обострилась обстановка, Хайди не могла покинуть Сухуми.

Мы не увиделись в этот раз.

А предыдущий... (вспомнил теперь!)... предыдущая встреча была в больнице. Меня всерьез прихватило, и назначили одно лекарство, которого нигде не было. Но нашлась Хайди (с которой перед этим не видались, пожалуй, опять с полгода) – нашлась сама и нашла лекарство. Такой вот дипломат!

Есть понятие «карьерный дипломат» – это закономерный, постепенный, по заслугам рост в должности. У Пушкина сказано о таких: «Кто славы, денег и чинов / Спокойно в

очередь добился». Хайди совсем иная. Не в должности растет, а душой растет, и возрастает ее влияние на окружающих. А должности... на удивление, должности тоже растут.

Мы движемся втроем по старым кварталам города Берна. К вечеру слегка подморозило. На перекрестке стоят четыре фигуры в латах. В руках алебарды. При нашем приближении алебарды скрещиваются – проход закрыт. «Чего они хотят?» – спрашиваю я. «Денег! Денег за проход!» – смеется Симон и протягивает им полфранка. Стражи важно кланяются и освобождают дорогу. В Берне зимний карнавал. И вечером, и утром мы встретим еще много костюмированных групп танцующих, поющих, разыгрывающих малопонятные сценки. Настроение веселое, но не разгульное. Необычность праздничного дня уравновешена обычностью вековых традиций.

Настоящий, реальный Берн выползал из-под крепко впечатанного в память иностранного кусочка знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны». Я узнавал улицы, по которым шел странной походочкой профессор Плейшнер – выдающийся мой коллега и мой товарищ по сцене Евгений Евстигнеев. Какая славная сцена, когда он с наивным умилением разглядывает бернских медведей в открытом вольере. В память о Жене мы с Маркишем тоже подошли к медведикам и тоже умилились.

В середине дня мы простились со столицей (вернее сказать, административным центром) Швейцарской Конфедерации. Снова вокзал и поезд.

Иностранные поезда. Как они нужны мне в моей будущей картине. Формально мое путешествие называется частной поездкой. Но, говоря языком профессиональным, киношным, это называется «выбор натуры». Просто у «Мосфильма» нет денег на такой «выбор», и поэтому еду на свои. Натуру я нашел – вот она, вокруг меня, на каждом шагу. Но как приблизиться к ней с актерами и с камерой? Найду ли я средства? А натура хороша! И пейзажи, и мосты, и туннели... и поезда! Так вот где ты живешь теперь, друг мой Маркиш? Хорошо живешь!

Чистенькие немецкие поезда по сравнению со швейцарскими показались мне пыльными и потертыми. Вагоны швейцарских поездов сверкали уже не как игрушки нерадивого школяра, а как выставочные экспонаты, с которых сдули и смыли все микрочастицы, которые могли бы затуманить их природный блеск. О, этот глубокий зеленый цвет! О, эти буквы на боку (на борту!) каждого вагона:

SBB CFF FFS

Что это? Магическое заклинание? Шифр счастья? Нет, это надпись: «Общегосударственная железная дорога» – начальные буквы слов на немецком, французском и итальянском языках. Немножко длинновато? Ничего, переживете, зато никто не будет обижен. Единство страны обеспечено тем, что каждый кантон обладает *абсолютной полнотой прав*. И это он сам – кантон – решил отдать *некоторые* из этих прав центральному правительству Конфедерации. Да, на итальянском языке говорит только один (один из двадцати двух!) кантон Тичино. Но он говорит по-итальянски. И потому итальянский язык полноправен в общем хоре. И на боку каждого вагона есть и итальянские литеры.

В швейцарском поезде все объявления очень длинные – каждое на трех языках. Вот поезд идет из Лугано в направлении Цюрих – Берн – Фрибур – Лозанна – Женева. Все объявления сперва на итальянском, потом на немецком, потом на французском. Потому что мы едем по италияязычному кантону, а впереди немецко-язычный, а франкофоны... еще далеко. Проехали Беллинзону (маленький городок, но он административный центр кантона, в который входят такие всемирно известные города, как Локарно и Лугано).

Вдоль быстрой горной речки, среди громоздящихся гор и водопадов мчится поезд по узкому ущелью, и вот очередная станция – начинается немецкоязычный кантон. Порядок объявлений меняется – впереди немецкий, потом итальянский, потом французский.

Мчатся на больших скоростях чистенькие поезда с телефонным обслуживанием пассажиров. Куда желаете позвонить? В какой город, в какую страну? За окном ухоженные, словно нарисованные городочки, фермочки... поселки... Грюер... постой, грюер, грюер – это сыр такой – грюер. Так вот он откуда, этот грюер, – вот с этих лугов и полян. Молоко конкретно вот от этих самых коров, которых я вижу сейчас в окно поезда. Привет вам, коровы, я о вас много слышал! И Эмменталь... ах, эмментальский сыр! Это тоже конкретно здесь. Не вообще «швейцарский» – что значит «швейцарский сыр» – федеральный, что ли? Тогда надо написать на его боковине FSF (Federate Suisse Fromage), и на трех языках – Сыр Общегосударственный Швейцарский.

Оп-па! Мы и не заметили, как в объявлениях радио впереди встал французский язык. Мы уже в кантоне Во – Лозанна. Следующая Женева. Немецкий язык теперь второй. А итальянский... он третий. Но он есть! Он звучит и здесь – язык единственного кантона, говорящего по-итальянски. Потому что это государство РАВНОПРАВНЫХ кантонов и равноправных граждан.

Еще не раз все эти бытовые наблюдения вызовут мои восторги. И уважение. И сомнения. И разочарования. И даже отчуждение (может быть, абсолютно несправедливое) – уж слишком на нас непохоже!

Это будет потом. А пока... вот он, Леман – Женевское озеро, похожее на море. Паруса вдали, уютные домики у берега, легкая озерная волна.

Придет время, и мы с Маркишем тронемся на его машине по шоссе, змеящемуся вдоль берега. Симон уступит мне руль, и я впервые почувствую, как это приятно – вести хорошо сделанную машину по хорошо сделанной дороге. Манящая полоса зелени между шоссе и синевой озера. В тот будущий визит будет лето, будет жаркий день и будет неодолимое желание искупаться. Дурные мы, что ли, – не окунуться в эту блаженную синеву? Сворачиваем к берегу по первой же боковой дорожке... Стоп! – *privée* – частное владение. Сюда нельзя, назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.